Я никогда и нигде не умру

дневник
1941-1943 гг.

Этти Хиллесум

Клуб семейного досуга

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

У нее был талант «излучать свет».

Ее внутренняя душевная мощь дарила неисчерпаемую волю к жизни. Подобно ее соотечественнице Анне Франк, Этти писала дневник, который стал символом мужества и потрясающего жизнелюбия, памятником всем жертвам Холокоста.

Она доверяла бумаге свои мысли и чувства, чтобы не позволить сломать себя трагедии миллионов людей. Как и доктор-психоаналитик Виктор Франкл, Этти Хиллесум спасла от самоубийства сотни человек в лагере, нашла в своей душе бессмертную надежду и поделилась ею с другими.

О ее вере и силе духа в своей проповеди в Пепельную среду 2013 года говорил Папа Римский Бенедикт XVI.

- Этти Хиллесум
  - Предисловие
  - Дневник
  - Письма из Вестерборка
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23

- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

Этти Хиллесум
Я никогда и нигде не умру
Дневник 1941–1943 гг

Предисловие

Восемь тетрадей, исписанных убористым, мелким, трудным для чтения почерком. Так выглядело то, что потом почти непрерывно не давало мне покоя: жизнь Этти Хиллесум. В этих тетрадях разворачивалась история 27-летней женщины, проживавшей в южной части Амстердама. Это был ее дневник 1941–1942 годов, то есть дневник военных лет, но для читателя это годы личного развития и парадоксального освобождения Этти Хиллесум. Те годы, когда в Европе разыгрывался сценарий окончательного уничтожения евреев. Этти Хиллесум была еврейкой, она написала другой, свой сценарий.

В попытке не потерять связь с «диким, хаотично раздробленным миром» она ищет источники своего существования и в конце концов приходит к жизненной позиции, исповедующей радикальный альтруизм. Последние слова ее последней записи в дневнике: «Хочется быть пластырем на стольких ранах». Так кто же она, Этти Хиллесум?

Между записью от 10 ноября 1941 года: «По всем направлениям страх жизни. Совершенная подавленность. Отсутствие уверенности в себе. Отвращение. Страх» и записью от 3 июля 1942 года: «Ладно, эту новую, желающую нашего тотального уничтожения реальность я выдержу. Теперь я это знаю. Я не буду нагружать своими страхами других, не буду огорчаться, видя, как люди не понимают, что с нами, с евреями, происходит. Одна реальность не должна ни навязываться другой, ни отвергать ее. Я работаю и продолжаю жить с прежними убеждениями и нахожу жизнь полной смысла. Полной смысла, несмотря ни на что», между этими двумя записями — жизнь Этти. Жизнь со множеством разнообразных оттенков: ее отношения с S. (о нем позже) и другими мужчинами, отношения с семьей, размышления о «женском вопросе», ее взгляды на русскую и немецкую литературу, прежде всего на Рильке, ее понимание истории и еврейства, ее постоянное стремление к жизни, защищенной от отравляющей и друзей, и врагов ненависти; ее честность и искренность, касающаяся даже эротики, ее полная лиризма чувствительность и постоянно пугающие события с кричащей очевидностью разрушенной вокруг нее жизни. Погружаясь в глубь всего этого, Этти интенсивно, с явным литературным талантом ведет свои записи.

Начало дневника приходится на воскресенье, 9 марта 1941 года. В феврале этого года Этти познакомилась с человеком, занявшим центральное место в ее мыслях и чувствах. Этот

человек — психоаналитик и хиролог, доктор Юлиус Шпир, известный в то время «эксперт по чтению линий рук». Шпир — впоследствии обозначенный Этти как S. (Spier) — был евреем, эмигрировавшим из Берлина. Он родился 25 апреля 1887 года во Франкфурте и в зрелые годы работал там директором банка. С течением лет Шпир открыл в себе талант распознания способностей и характеров людей по линиям их рук. В 1925 году он создает издательство «Iris», берет уроки классического пения и едет в Цюрих для двухлетнего обучения психоанализу у самого Карла Густава Юнга. Именно Юнг вдохновил его на серьезные занятия психохирологией. Куда бы в дальнейшем Шпир ни попадал, он организовывал курсы. В 1939 году он эмигрировал в Голландию, в Амстердам, где жила его сестра. Дочь Рут и сын Вольфганг остались с его женой не еврейского происхождения, с которой в 1935 году он развелся. Шпир был совершенно необычным человеком, «магической личностью», как его характеризовали многие, и прежде всего женщины. Ошеломляющей, завораживающей была его способность, читая по рукам, проникать в тайны человеческой жизни и затем все прочитанное подвергать психологическому анализу.

Эти достаточно скупые данные о докторе Шпире не дают возможности представить масштаб того благотворного эффекта, который его работа оказывала на людей.

Во всяком случае для Этти он стал катализатором самоанализа. Непрерывного, принимающего часто универсальный характер самоанализа, которому она с воскресенья 9 марта начала придавать форму. Этим я хочу сказать, что в своем дневнике Этти Хиллесум описывает не только самое себя, но и возможности каждого человека в любой момент жизни.

В это же самое время у Этти развивается религиозное сознание, некоторым читателям могущее показаться непонятным или даже отпугивающим. Этти была богоискателем, который в конце концов приходит к выстраданному выводу, что Бог действительно существует. Слово «Бог» можно встретить уже в ее первых записях, хотя там оно, по всей видимости, употребляется неосознанно. Медленно, но уверенно в ней происходит почти непрерывное движение в сторону познания Бога. Эттины наброски, где она прямо, без смущения обращается к Богу, приобретают совершенно особый стиль. Ее религиозность нетрадиционна, поскольку Этти не была связана ни с синагогой, ни с церковью, она жила в своем собственном религиозном ритме. Говоря с Богом, как с самой собой, она была очень далека от догм, теологий, систем. В течение этих лет, благодаря глубокому проникновению в действительность окружающего

мира, Этти чувствует, как эта действительность ведет и питает ее. Она говорит: «Когда я молюсь, никогда не молюсь за себя, всегда за других. Или же веду сумасшедший, детский, или смертельно серьезный диалог с тем, *что во мне является самым глубинным и что удобства ради я называю „Богом*“» (курсив мой. — *Я. Г. Г.*). И позже: «Благодаря этому, мое ощущение жизни совершеннее всего передается словами „погрузиться в себя“. И это „в себя“ — это самое глубокое и ценное во мне, я называю „Богом“». В других местах — пассажи, напоминающие любовную лирику: «…они говорят: я не попадусь в их когти, забывая, что, находясь в твоих руках, невозможно попасть ни в чьи когти». Есть фрагменты, читая которые кажется, что Этти полностью, с головой уходит в диалог с Богом. Была ли Этти мистиком? Возможно, но вот что она пишет: «Мистика должна основываться на кристальной искренности. Но сначала нужно проникнуть в самую, вплоть до голой реальности, суть вещей». Имя Бога у Этти ничем не обременено. Создается впечатление, что столетия иудаизма и христианства не оставили в ней никакого следа. Как мне кажется, в этом и выражается «необремененность» ее веры, которая с одной стороны узнаваема другими верующими, а с другой — без больших трудностей может быть понята неверующими людьми.

Как выглядела жизнь Этти до войны? Биографические сведения, относящиеся к этому времени, довольно скудны. Эстер Хиллесум родилась 15 января 1914 года в Мидделбурге. Ее отец, преподаватель классических языков, был очень образованным человеком с большим количеством контактов в научном мире. Книги и учеба занимали центральное место в его жизни. Он преподавал в Тиле и Винсхотене, после чего в 1924 году вместе с семьей переехал в Девентер. С 1928 года он работал там сначала заместителем директора, а потом директором городской гимназии. Мать Этти родилась в России. После очередного погрома она бежала в Голландию. Отношения в семье были неуравновешенными. Юные годы Этти, прошедшие в большом доме на улице Герта Гроте, 9, были очень насыщенными. Она и оба ее младших брата, Михаэль (Миша) и Яап, были чрезвычайно одаренными детьми. Миша был гениальным пианистом и, по мнению современников, если бы не погиб, принадлежал бы к числу выдающихся пианистов Европы. Правда, его одаренность была сопряжена с большими проблемами, порой ведущими даже в психиатрическую клинику.

Яап был врачом, о нем мало что известно. Несмотря на то, что дедушка Этти был главным раввином трех северных провинций, она не получила никакого или всего лишь

незначительное воспитание в иудейской вере. Насколько все же сильна была ее связь с еврейским народом и насколько сильно было в ней осознание Бога, показали последующие годы.

В 1932 году Этти оставляет учебу в школе своего отца, с легкостью сдает в Амстердаме экзамен по юридическому праву и наряду с этим посвящает себя изучению славянских языков. Когда она принимается за изучение психологии, уже полным ходом идет Вторая мировая война и ее жизнь постепенно приобретает те измерения, которые открываются нам в ее дневнике.

Пятнадцатого июля 1942 года Этти Хиллесум получает место в отделе культуры при Еврейском совете(«юденрате»). Четырнадцать дней она пешком ходит на Амстел, 93 и обратно и называет это место «адом».

Когда в начале августа приходит повестка, Этти, не колеблясь, отправляется в Вестерборк, где хочет пережить судьбу, «массовую судьбу» евреев, которая видится ей неотвратимой. Она понимает, что для простых евреев нет никакой возможности спастись, и из солидарности решает разделить их участь. Она верит в то, что ее жизнь может быть оправдана только тем, что она не оставит людей в смертельной опасности и использует свой талант, дабы принести им облегчение.

Пережившие лагерь люди подтверждали, что Этти действительно до самого конца была «излучающей свет личностью». По особому разрешению она еще несколько раз возвращалась из Вестерборка в Амстердам.

7 сентября 1943 года Этти вместе со всей семьей была отправлена в Освенцим. Вероятно, речь идет о штрафной депортации, так как ее брат Миша, при посредничестве Виллема Менгелберга получив статус «еврея от культуры», мог избежать депортации, но он не захотел воспользоваться своим положением, поскольку оно не освобождало от этой участи всю семью. Из сообщений Красного Креста известно, что Этти Хиллесум погибла 30 ноября 1943 года в Освенциме. Погибли также ее родители и братья.

Ян Герт Гарландт

Дневник

Воскресенье, 9 марта 1941 года. Ну, давай! Как же это мучительно, как непреодолимо трудно на невинном листе разлинованной бумаги оставить на произвол судьбы свое стыдливое нутро. И хотя мои мысли и чувства временами так ясны, так глубоки, — записать их пока никак не удается. Думаю, причиной всему — стыд и сильная внутренняя скованность. Я все еще не осмеливаюсь дать мыслям свободно вылиться наружу. Но если я хочу с удовлетворением прожить свою жизнь — это должно произойти. Как и в любовных отношениях, последний, освобождающий крик всегда робко остается внутри. В эротике я достаточно утончена, и поэтому любовь со мной может казаться совершенной. Однако это всего лишь игра, скрывающая суть. Внутри меня всегда что-то остается запертым. Да и в остальном тоже так. Интеллектуально я достаточно одарена, чтобы все ощутить, все облечь в понятную форму, во многих жизненных ситуациях я произвожу превосходное впечатление. При этом глубоко во мне спрятан сжатый ком, что-то крепко держит меня, так что, вопреки всем своим ясным мыслям, временами я кажусь себе всего лишь маленьким боязливым существом.

Удержать бы момент этого утра, хотя он уже почти ускользнул от меня. В одно мгновение, благодаря четкому строю мыслей, я победила S.

Его прозрачные, чистые глаза, чувственный рот, по-бычьи массивная, но с легкими пружинными движениями стать… Пятидесятичетырехлетний мужчина, у которого еще полным ходом идет борьба между материей и духом. И, кажется, я сломлена тяжестью этой борьбы, подавлена этой личностью, не могу от нее освободиться; мои собственные, по моим ощущениям приблизительно того же порядка проблемы остаются в стороне. Конечно, речь о чем-то другом, о чем-то, что не поддается точному описанию. Наверное, моя искренность еще недостаточно безжалостна, и к тому же словами пока не удается добраться до сути вещей.

Первое впечатление после нескольких минут: лицо не чувственное, не голландское; и все же чем-то близкий мне тип, напоминает Абрашу[1], но тем не менее не вполне приятный.

Второе впечатление: умные, невероятно умные, древние серые глаза, на некоторое время отвлекающие внимание от тяжелого рта, но не совсем. Сильное впечатление от его работы: распознание моих самых глубоких внутренних конфликтов

посредством чтения по моему второму лицу — рукам. Еще одно, какое-то очень неприятное впечатление, когда я по невнимательности подумала, что он говорит о моих родителях: *«Нет, это все вы, вы одарены философским мышлением, интуицией»*[2], и еще добавил всякие пышности. Это было сказано так, словно маленькому ребенку суют в руку печенье. Ты, что ли, не рад? «Да, вы владеете всеми этими прекрасными качествами, разве это не радует вас?» В этот миг я почувствовала отвращение, было это как-то унизительно или, может, просто было задето мое эстетическое чувство. Во всяком случае, в тот момент он показался мне каким-то приторным. Но потом на мне снова покоились завораживающие, лучистые, глядящие из серой глубины человеческие глаза. Глаза, которые мне хотелось целовать. Раз уж я об этом: был еще один момент в то же утро понедельника (теперь уже пару недель назад), когда он был мне неприятен. Его ученица, г-жа Хольм, несколько лет назад пришла к нему с головы до ног покрытая экземой. Стала его пациенткой. Полностью выздоровела. Поклоняется ему. Какого рода поклонение, пока не разобралась. В определенный момент, когда мое честолюбие, сводящееся к желанию самой решать свои проблемы, выступило на передний план, г-жа Хольм многозначительно сказала: «Человек на свете живет не один». Это прозвучало и доброжелательно, и убедительно. А потом она рассказала мне о своей экземе, которой было покрыто не только все тело, но и лицо. Тут S. повернулся к ней, сделал какой-то очень неприятно задевший меня жест, который в точности мне не передать, и сказал: *«И какой цвет лица у нее сейчас, а?»* Это прозвучало так, словно он на рынке расхваливал свою корову. Не знаю почему, но в тот момент он показался мне отвратительным, немного циничным, и опять же было это не совсем так.

И потом, в конце сеанса: *«А теперь давайте подумаем, как мы можем помочь этому человеку»*. А может, он сказал: *«Этот человек нуждается в помощи»*.

К тому времени он уже покорил меня своим талантом, и я действительно испытывала острую необходимость в помощи.

Потом были его лекции. Я шла туда, чтобы посмотреть на этого человека с некоторого расстояния и, прежде чем передать ему свою душу и тело, оценить его издали. Хорошее впечатление. Высокий уровень.

Человек с шармом. Даже смех, несмотря на множество искусственных зубов, — с шармом. В тот день я была под сильным впечатлением от исходящей от него внутренней свободы, от мягкости, покоя и совершенно своеобразной грации этого тяжелого тела. Его лицо тогда снова было совсем другим.

Впрочем, оно каждый раз выглядело иначе. Когда я дома, когда одна, у меня не получается представить его. Пытаюсь, как кусочки мозаики, собрать воедино все знакомые мне части, но нет, все расплывается от сплошных противоречий. Временами отчетливо вижу его перед собой, а потом опять все распадается на множество частей, и это очень мучительно.

На лекцию пришло много милых женщин и девушек. Трогательна была явно витавшая в воздухе любовь некоторых «ариек» к этому эмигрировавшему из Берлина еврею, приехавшему сюда, чтобы помочь им обрести внутреннее равновесие. В коридоре стояла одна юная девушка[3]: худенькая, хрупкая, не совсем здоровое личико. Мимоходом, был как раз перерыв, S. обменялся с ней парой слов, и она из самой глубины души, с такой отдачей подарила ему полную преданности улыбку, что мне стало почти больно. Во мне поднялось неопределенное — или же вполне конкретное — чувство протеста: этот человек украл улыбку, чувства, все, что этот ребенок нес ему навстречу. Тем самым он ограбил другого мужчину, который позже станет ее мужем. Это, в сущности, нечестно, непорядочно, и он — опасный человек.

Следующее посещение. *«Я могу заплатить только 20 гульденов». — «Хорошо, тогда вы можете приходить в течение двух месяцев, и потом я тоже вас не оставлю».*

И вот я у него со своим *«психоэмоциональным затором».* Направляя действующие внутри меня противоречивые силы, он наводит порядок в этом внутреннем хаосе. Он как бы взял меня за руку и сказал: «Смотри, вот так ты должна жить». Долгое время мне хотелось, чтобы пришел кто-то, взял меня за руку и занялся мною. Я кажусь сильной, делаю все сама, но как охотно вручила бы себя другому человеку. Именно так сейчас ведет себя со мной этот чужой мне господин S. с его сложным лицом. И, вопреки всему, за одну неделю он сотворил чудо. Гимнастика, дыхательные упражнения, разъясняющие слова о моих депрессиях, о моем отношении к другим и т. д. И я вдруг зажила иначе, свободнее, легче. Ощущение затора исчезло, внутри установился определенный порядок и покой. Все, что должно еще психически укрепиться и стать осознанным, пока находится под влиянием его магической личности.

А теперь — *«Тело и душа едины».* Наверное, основываясь на этом тезисе, он спортивной борьбой начал измерять мои физические силы. Как оказалось, они были достаточно большими, и произошло удивительное: я повалила его, эту громадину, на

пол. Все мое внутреннее напряжение и сжатые силы освободились, а он лежал, побежденный физически и, как он мне позже говорил, психически тоже. Никогда с ним такого не случалось, и он не понимал, как это у меня получилось. Его губы кровоточили. Я должна была промокнуть их одеколоном. Необыкновенно доверительный жест. Но он был такой свободный, такой же простодушный, открытый и естественный в своих движениях, как когда мы вместе катались по полу. А когда наконец-то укрощенная, плотно зажатая в его руках, я на миг поддалась физическому влечению, он оставался «беспристрастным» и чистым. И все-таки эта борьба была мне необходима. Она была новой, неожиданной и довольно раскрепощающей, хотя позже этот эпизод сильно будоражил мою фантазию.

Воскресный вечер, в ванной комнате. Настоящее внутреннее очищение. Сегодня вечером его голос по телефону вызвал в моем теле целое восстание. Но, ругаясь как простолюдин, говоря себе, что я уже не истеричная девица, я взяла себя в руки и неожиданно хорошо поняла монахов, усмиряющих свою грешную плоть. Это была интенсивная борьба против самой себя, я была совершенно выжата, после чего наступило сильное просветление и покой. И сейчас я чувствую себя изнутри сияюще-чистой. S. в очередной раз побежден. Как долго это продлится? Я не влюблена в него, не люблю его, но как-то чувствую, что его еще развивающаяся, еще спорящая с собой личность сильно довлеет надо мной. Но не в настоящий момент. Сейчас я вижу его со стороны: живой человек с прозрачными глазами и чувственным ртом, человек, в котором все еще идет борьба между первичным и духовным.

День так хорошо начинался, голова была ясной, об этом надо позже еще написать. Потом очень сильный спад, давление на череп, от которого я не могла избавиться, и тяжелые, слишком тяжелые для меня мысли, и за всем этим повисшее в пустоте «зачем». Но с этим тоже нужно бороться.

«Мелодично катится мир из Божьих рук» — эти слова Вервея[4] весь день не идут из головы. Я бы сама хотела мелодично катиться из Божьих рук. А теперь — спокойной ночи.

Понедельник [10 марта 1941], 9 часов утра. Дорогая моя, начни же наконец работать, не то я тебя убью. И пожалуйста, не думай, мол, побаливает голова, немного тошнит, и поэтому тебе не по себе. Это в высшей степени неприлично. Ты должна

работать, и все. И никаких фантазий, «грандиозных» мыслей и великих предчувствий; куда важнее, работая над одной темой, искать нужные слова. Надо будет научиться насильно изгонять из головы всякие фантазии, мечтания, научиться переламывать себя и вычищать изнутри так, чтобы освобождалось место для изучения маленьких и больших вещей. Собственно говоря, по-настоящему я еще никогда не работала. Это снова как в любви. Если кто-нибудь производит на меня впечатление — могу день и ночь наслаждаться эротическими фантазиями, даже не представляя, сколько при этом расходуется моей энергии, а когда действительно что-то происходит — наступает сильное разочарование. Мое пылкое воображение уводит меня так далеко, что реальность не поспевает за ним. Однажды так было с S. Натянув под шерстяное платье гимнастическое трико, я в определенном радостном возбуждении настроилась на встречу с ним. Но все вышло не так, как думалось. Он опять был деловым, отстраненным, и это сразу сковало меня. Гимнастика тоже не удалась. Я стояла в своем тренировочном трико, и мы смотрели друг на друга с таким смущением, как отведавшие яблоко Адам и Ева. Он задернул гардины, запер на ключ дверь, но непринужденность его движений исчезла. Это было настолько ужасно, что мне хотелось с воем бежать оттуда. А когда мы катались по полу, я, сопротивляясь, в то же время чувственно и крепко прижималась к нему. В какие-то моменты и его движения не отличались целомудрием. Мне все казалось отвратительным. Не будь тех фантазий, все наверняка вышло бы иначе. Это было внезапное столкновение моего распущенного воображения с отрезвляющей действительностью, съежившейся в одном мужчине, который после всего, смущаясь и потея, приводил в порядок измятые рубашку и брюки.

Точно так у меня и с работой. Бывает, просмотрев какой-то материал, могу едва уловимыми мыслями так ясно и цепко ухватить его суть, что на меня нисходит сильное чувство собственной значимости. Но когда пытаюсь записать, эти мысли сворачиваются в ничто. Потому-то и не хватает мужества писать: заранее предчувствую незначительность результата.

Пойми же наконец, что конкретизация твоих больших смутных идей не даст тебе ничего. Маленькое, незаметное, записанное тобой сочинение — важнее потока великих мыслей, которыми ты наслаждаешься. Естественно, ты должна сохранять свои предчувствия, свою интуицию. Ты многое черпаешь из этого колодца. Но будь осторожна, не утони в нем. Наведи порядок в делах, займись умственной гигиеной. Твои фантазии, твое внутреннее возбуждение и т. д. — огромный океан, и ты должна

отвоевать в нем маленький кусочек суши, который впоследствии, может быть, снова будет затоплен. Эта стихия потрясающе велика, но речь идет о покоренном тобой маленьком участке земли. Тема, над которой ты сейчас работаешь, важнее посетивших тебя недавно среди ночи грандиозных мыслей о Толстом и Наполеоне. А часы, что ты в пятницу вечером уделяешь той прилежной девочке, важнее всех философий, с которыми ты витаешь в облаках. Помни об этом. Не переоценивай свое внутреннее возбуждение. Благодаря ему ты легко чувствуешь себя причастной к чему-то возвышенному и считаешь себя значительней других, так называемых заурядных людей, о чьей внутренней жизни ты, в принципе, ничего не знаешь. Если будешь продолжать умиляться собой, ты — просто нуль и безвольная тряпка. Не теряй из виду землю, не барахтайся беспомощно в океане! Ну, все — за дело!

Среда [12 марта 1941], вечер. Мои длительные головные боли — мазохизм; мое выходящее из берегов сострадание — сладострастие.

Сострадание может быть плодотворным, но оно может и полностью проглотить тебя. Опьяненность большими чувствами. Нет, лучше объективность, умеренность. *Требования к родителям*. Родителей нужно рассматривать как людей с собственной завершенной *судьбой*. Желание продлить восторженные моменты — ошибка. Понятно же: испытал час очень сильных духовных или душевных переживаний, — потом, естественно, следует спад. Обычно при таком спаде я была раздражена, чувствовала себя уставшей и всякий раз вместо того, чтобы заняться простыми каждодневными делами, стремилась вернуть эти *«возвышенные»* мгновения. Вот они, мои *«амбиции»*. Все, что попадает на бумагу, должно сразу быть совершенным, не хочу заниматься рутинной работой. В своем таланте я тоже не уверена, нет органично созревшего чувства. В почти экстатические моменты я способна на удивительные вещи, но потом снова погружаюсь в глубокую бездну сомнений. Из этого следует, что я не работаю регулярно над тем, к чему, как я думаю, у меня есть дар.

Теоретически я знаю это давно. Несколько лет назад на клочке бумаги я однажды написала, что нисходящая на нас милость, при ее редких посещениях, должна опираться на хорошо подготовленную технику. Но эта мысль все еще не стала моей плотью и кровью. Действительно ли в моей жизни началась новая фаза? Вопросительный знак уже неуместен. Началась! Борьба идет уже вовсю. Слово «борьба» — неверное в данный момент. Сейчас я чувствую себя насквозь поздоровевшей, мне так хорошо,

так гармонично, что лучше сказать: полным ходом идет становление моего сознания. И все, что до сих пор в моей голове накопилось в виде безупречных теоретических формулировок, теперь должно войти в мое сердце, стать моим естеством. А затем должна исчезнуть и чрезмерная осознанность. Пока что я слишком наслаждаюсь состоянием перехода. Все должно стать проще, само собой разумеющимся, и, возможно, когда-нибудь я почувствую себя взрослым человеком, способным помочь другим страждущим на этой земле тем, что своими сочинениями принесу в их жизнь ясность. Речь ведь об этом.

15 марта [1941], половина десятого утра. Вчера днем мы вместе читали его записи. И когда дошли до слов: *«было бы достаточно одного-единственного человека, достойного называться этим словом, чтобы поверить в людей, в человечество»*, я в неожиданном порыве на мгновение обняла его. Это проблема нашего времени. Сильная, отравляющая собственную душу ненависть к немцам. Когда каждый день слышишь: «Подонки, их надо было бы уничтожить до последнего…», то порой кажется, что в это время больше невозможно жить. Но несколько недель назад до меня вдруг дошла спасительная мысль, она взошла, как дрожащий молодой росток в полной сорняков пустыне: останься лишь один-единственный порядочный немец, стоило бы защитить его от всей этой варварской орды и ради него не сметь выливать свою ненависть на весь народ.

Это не значит быть равнодушным к определенным течениям, не возмущаться происходящим, не пытаться его понять. Но нет ничего хуже глобальной, всеобъемлющей, недифференцированной ненависти. Это болезнь души. Моему характеру ненависть не свойственна. Начни я действительно ненавидеть, была бы ранена в самую душу и должна была бы стремиться к скорейшему выздоровлению. Раньше мой внутренний конфликт мне виделся иначе, но как же это было поверхностно. Когда во мне возобновлялся изнурительный спор между моей ненавистью и другими чувствами, мне казалось, что он происходит между моим врожденным, инстинктивным страхом еврейки перед угрожающей гибелью и моими приобретенными рациональными идеями социализма. Идеями, учившими меня рассматривать народ не в его совокупности, а как хорошее по своей природе большинство, введенное в заблуждение плохим меньшинством. То есть врожденный инстинкт против приобретенной рациональной формы мышления.

Но конфликт глубже. Через заднюю дверку социализм все-

таки снова впускает ненависть ко всему, что не является социалистическим. Выражено грубо, но я знаю, что имею в виду. В последнее время я стремлюсь сохранить гармонию в этом разнородном семействе: трогательно, как мать, заботящаяся обо мне немка крестьянского происхождения, христианка; еврейская студентка из Амстердама; Бернард — осмотрительный старый социал-демократ с чистыми чувствами, достаточно неглупый, но ограниченный вследствие своего *«мещанского происхождения»*; и еще молодой студент-экономист — честный, добрый, настоящий христианин, полный кротости и понимания, но также и непримиримости, негибкости, столь свойственных сейчас христианам[5]. Это был и есть маленький бурлящий мир, подверженный угрозе разрушения внешней политикой. Моя цель: сохранить наше маленькое содружество как доказательство против всех судорожных, безумных, расовых, националистических и т. п. теорий. Как доказательство того, что жизнь не позволяет втиснуть себя в одну заранее выстроенную схему. Однако за этим стоит много внутренних усилий, досады, взаимно причиняемой боли, волнений, раскаяния и т. д. Когда при чтении газет или от пришедших с улицы новостей меня вдруг охватывает ненависть — наружу, в адрес немцев, вырывается ругань.

И мне ясно, что делаю я это намеренно, чтобы обидеть Кэте, чтобы психологически освободиться от ненависти, вылить ее на кого угодно, пусть даже на эту замечательную женщину, которая любит свою родную землю, что для меня совершенно естественно и понятно. Но, несмотря на это, не могу смириться с тем, что она в этот момент не так сильно ненавидит, как я. Хочется, чтобы в этой ненависти со мной были солидарны все окружающие. Мне известно, что она к «новому менталитету» испытывает такое же точно отвращение, как я, и так же тяжело страдает от того, что творит ее народ. Внутренне она, конечно, принадлежит ему, я это понимаю, но выдержать это в данный момент не в силах. Они должны быть вырваны с корнем, и из меня злобно вырывается: «Нелюди!», хотя при этом мне до смерти стыдно. Потом чувствую себя глубоко несчастной, не могу успокоиться и появляется ощущение, что все, абсолютно все неправильно.

А потом снова, и это действительно очень трогательно, мы дружелюбно, ободряюще говорим Кэте: «Да, безусловно, есть и порядочные немцы, ведь, в конце концов, солдаты ни при чем, среди них есть вполне хорошие ребята». Но это только теоретически, только чтобы несколькими приветливыми словами сохранить еще хоть немного человечности. Ибо, если бы мы действительно это ощущали, не было бы нужды так настойчиво это утверждать, тогда бы немецкую крестьянку и еврейскую

студентку воодушевляло общее чувство, тогда вместо изнурительных политических разговоров, годных лишь на то, чтобы избавиться от нашей ненависти, мы бы беседовали о хорошей погоде и овощном супе. Поскольку размышления о политике, попытки познать и обосновать ее со всех сторон, разобраться в том, что за ней кроется, все это вряд ли возможно прояснить в разговорах, все остается на поверхности. И поэтому мало радости от общения со своими соседями, и поэтому S. — оазис в пустыне, и поэтому я внезапно обхватываю его своими руками. Об этом можно было бы еще многое сказать, однако сейчас надо снова подумать о работе. Сначала ненадолго на свежий воздух, а затем — за старославянский.

Воскресенье [16 марта 1941], 11 часов. В моей жизни понемногу меняется распорядок дня, иерархия действий. «Раньше» на пустой желудок я жадно начинала с Достоевского или Гегеля, а в момент растерянности могла нервно штопать чулок, если уж по-другому не получалось. Теперь день в буквальном смысле слова начинается со штопки, и постепенно, через всякие другие необходимые ежедневные дела я подтягиваюсь к вершине, где снова встречаюсь с поэтами и мыслителями. Если я хочу когда-нибудь создать что-то стоящее — надо срочно избавиться от этого пафоса в моей манере выражаться. Но по правде говоря, я просто ленюсь искать точные слова.

Половина первого, после прогулки, ставшей уже настоящей традицией. Во вторник утром, работая над Лермонтовым, я записала, что позади него все время всплывали черты S. и что я с этим дорогим мне лицом разговаривала, хотела его гладить и поэтому не могла работать. Но это уже в прошлом. Все опять немного изменилось. Сейчас его лицо тоже здесь, но оно больше не отвлекает меня, оно просто стало знакомым, родным фоном. Черты размыты, вижу его нечетко, оно перешло в видение, дух, назовите как угодно. И здесь я столкнулась с чем-то существенным, с чем-то важным. Раньше, если я находила красивый цветок, мне больше всего хотелось его прижать к себе или съесть. Труднее было, если речь шла о прекрасном виде, пейзаже, но ощущение было такое же. Я была слишком чувственной, я бы сказала, слишком настроенной на «безраздельное обладание» тем, что находила красивым. Это была сильная физическая потребность обладания. Отсюда и болезненное чувство тоски, неудовлетворенность, стремление к чему-то недостижимому, что я назвала «творческим порывом».

Думаю, эти сильные чувства и навели меня на мысль, что я рождена для творчества, для искусства. И вдруг все изменилось, не знаю, благодаря какому внутреннему процессу, но все стало иным.

Это прояснилось во мне только сегодня утром, когда я вспоминала вечернюю прогулку вокруг Городского катка, что была пару дней назад. Я брела сквозь сумерки: в воздухе нежные тона, полные таинственности силуэты домов, живых деревьев с их прозрачными ветвями, одним словом — красота. И я точно знаю, как «раньше» мне было бы не по себе. Тогда я находила это столь красивым, что начинало болеть сердце. Я страдала от красоты и не знала, что с ней делать. Потом меня охватывала потребность писать, сочинять стихи, но слова никогда не хотели подчиняться, и я чувствовала себя чрезвычайно несчастной. Я была прямо-таки истощена этой красотой, перенасыщенностью, которая отнимала у меня бесконечно много энергии. Сейчас я назвала бы это чем-то вроде «онанизма».

Но недавно вечером я отреагировала не так. Я с радостью обнаружила, как, несмотря ни на что, божий мир прекрасен. Я наслаждалась в сумерках таинственным, тихим видом. Наслаждалась интенсивно, как и раньше, но, как бы это сказать, реальней. Мне больше не хотелось «владеть» им. И, окрепшая, я направилась домой работать. Пейзаж остался на заднем плане, как оболочка моей души, чтобы уж использовать этот красивый образ. Но это больше не мешало мне, не подталкивало к «онанизму», так сказать.

Теперь с S., а впрочем, и со всеми людьми тоже так. Во время того кризиса, когда я, оцепенев, не произнося ни слова, с напряжением смотрела на него, дело, вероятно, тоже было в желании «безраздельного обладания». Он рассказывал мне о своей личной жизни. О жене, с которой в разводе, но с которой все еще переписывается. О его *«одиноко страдающей»* подруге в Лондоне, на которой собирается жениться. О бывшей близкой подруге, очень красивой певице, с ней он тоже переписывается. После этого мы снова «боролись», и я ощущала сильное влияние его большого, притягивающего тела.

И когда, сев напротив него, я умолкла, во мне, вероятно, происходило нечто подобное тому, что происходило, когда я погружалась в чарующий пейзаж. Я хотела, чтобы он «был моим», чтобы и он тоже принадлежал мне. Однако никакой тяги к нему как к мужчине не было, сексуально он едва ли привлекал меня, хотя некое напряжение присутствовало все время. Но он глубоко тронул мою сущность, а это важнее. Таким образом, желая так или иначе владеть им, я ненавидела всех женщин, о которых он

мне рассказывал, ревновала к ним и думала, хотя и неосознанно: «Что же от него остается мне?» Я чувствовала, как он ускользает от меня. По сути, это были мелкие, не высокого уровня человеческие чувства. Но понятно это стало мне только сейчас. Тогда же я была ужасно несчастна и одинока, мне только хотелось бежать от него и писать.

Теперь это «писать» я тоже воспринимаю как некий иной вид «обладания», то есть, приближая к себе вещи словами и образами, все же владеть ими. В этом до сих пор и состояла суть моего стремления писать: тихо уединиться со всеми своими сокровищами, спрятаться от жизни. Записав, сохранить их для себя и таким образом наслаждаться всем этим. И вот эта страсть к безраздельному обладанию — так я могу это для себя лучше всего сформулировать — вдруг исчезла. Разорваны тысячи тесных оков, я дышу вольно, чувствую себя сильной, смотрю вокруг ясными глазами. Теперь, не желая больше ничем владеть, будучи свободной, — владею всем, и мое внутреннее богатство неизмеримо.

S. полностью принадлежит мне, принадлежит настолько, что, отправься он завтра в Китай, — буду чувствовать его рядом, жить в его сфере. Когда в среду увижу его, буду очень рада, но уже не стану с ожесточением считать дни, как на прошлой неделе. И Хана[6] я уже не спрашиваю сто раз в день: «Ты меня еще любишь?», «Ты меня еще действительно любишь?» и «Желанней ли я всех других?» Это тоже была форма цепляния, физического цепляния за нефизические вещи. А теперь я живу и дышу, словно сквозь собственную «душу», если можно еще использовать это дискредитированное слово.

Сейчас мне стали ясны слова S., сказанные во время моего первого посещения. *«Что находится здесь* (и он показал на голову), *должно прийти сюда* (и он показал на сердце)». Тогда мне было не вполне понятно, как должен происходить этот процесс, но это произошло. Как? Не могу передать. Он передвинул на нужные места те вещи, которые уже существовали во мне. Все частички лежали вперемешку, а он соединил их в осмысленное целое. Как он это сделал, я не знаю, это его дело, так сказать, его профессия, не напрасно ведь о нем говорят как о «магической личности».

Среда [19 марта 1941]. Ловлю себя на потребности в музыке. Меня нельзя назвать немузыкальной, музыка, когда слышу ее, всегда захватывает меня. Но обычно мне не хватало

терпения, отложив все в сторону, специально послушать музыку. Мои интересы всегда были и до сих пор остаются обращенными к литературе и театру, то есть к тем областям, где я могу сама продолжать мыслить. А теперь, на этом этапе моей жизни, музыка начинает сильно притягивать меня, я снова способна забыться, отдаться ей. И прежде всего это ясная, серьезная классика. Мне не по душе раздробленность современной музыки.

9 часов вечера. Господи, помоги мне, дай силы на эту тяжелую борьбу. Его рот, его тело были сегодня так близки, что их невозможно забыть. Не хочу отношений с ним. Хотя все идет к этому, но я этого ***не хочу***. Его будущая жена живет в Лондоне одна и ждет его. Но связывающая нас с ним нить мне тоже дорога. Теперь, постепенно становясь более *«цельной»*, чувствую, что, по сути, я очень серьезный человек, не понимающий шуток с любовью. Хочу, чтобы в моей жизни был один-единственный мужчина, хочу вместе с ним что-то создать. Все прежние многочисленные приключения и романы, в общем-то, делали меня только несчастной и внутренне изорванной. Просто я никогда достаточно серьезно, сознательно не сопротивлялась этому, и любопытство всегда оказывалось сильней. Но теперь, когда силы во мне сконцентрировались, они начали препятствовать и моему авантюризму, и обращенному на многих чувственному любопытству. Собственно говоря, это ведь только игра, и можно интуитивно, не вступая в близкие отношения, почувствовать, что за человек рядом с тобой. Но, Господи, как же это теперь становится трудно. Его рот сегодня был так мне мил и так близок, что я нежно коснулась его губами. И эта по-деловому начавшаяся борьба закончилась тем, что мы покоились в объятиях друг друга. Он не поцеловал меня, только один раз быстро, сильно укусил за щеку. Но самым незабываемым для меня было, когда, вдруг опомнившись, он совсем робко, с почти неловкой застенчивостью и тревожным ожиданием в голосе спросил: *«А рот, не показался он вам неприятным?»* Вот, значит, это его слабое место. Борьба со своей чувственностью, проявившейся в тяжелом, удивительно выразительном рте. И боязнь этим ртом нагнать на другого страх. Трогательно. Однако *мой покой исчез*[7]. Потом он еще сказал: *«Рот должен был бы быть меньше»*. И показал на правую сторону нижней губы, которая, описывая дугу, странно выдавалась из уголка рта; кусочек, вышедший из-под контроля. *«Встречали вы когда-нибудь что-нибудь такое же упрямое? Ничего подобного никогда не увидишь»*. Я не запомнила в точности его слова, но затем снова слегка дотронулась до этого упрямого кусочка губы. По-настоящему я его не поцеловала. С

моей стороны нет истинной страсти. Он мне бесконечно дорог, и мне бы не хотелось испортить это теплое, глубокое человеческое чувство какими-либо отношениями.

Пятница, 21 марта [1941], половина девятого утра. Если честно, мне сейчас вообще не хочется ничего писать, потому что чувствую себя такой легкой, светлой, радостной, что в сравнении с этим любое слово кажется свинцовым. Однако эту внутреннюю радость для своего загнанного, беспокойно бьющегося сердца мне пришлось сегодня утром отвоевывать. Ополоснувшись ледяной водой, я еще очень долго оставалась лежать на полу в ванной комнате, пока полностью не успокоилась и не обрела состояние, которое можно обозначить словом *«боеготовность»*, и в предстоящем *«бою»* получила спортивное, волнующее удовольствие.

Кажется, я уже подавила в себе это смутное чувство страха. Жизнь на самом деле тяжела, борьба идет каждую минуту (только не преувеличивай, дорогая!), но борьба притягивающая. Раньше я заглядывала в хаотичное будущее, потому что не хотела непосредственно перед собой видеть правду. Как избалованный ребенок, хотела все получить в подарок. Иногда меня посещало некое очень расплывчатое чувство, что в будущем я «смогла бы кем-то стать», совершить что-то «большое», а иногда — сумбурный страх, что исчезну, не оставив следа. Постепенно начинаю понимать, откуда это идет. Я отказывалась касаться непосредственно передо мной стоящих проблем, отказывалась последовательно продвигаться в будущее. А сейчас, когда каждая минута наполнена, до краев наполнена жизнью и испытаниями, борьбой, победами, поражениями, а потом снова борьбой и редким покоем, сейчас я больше не думаю о будущем. Это значит — мне безразлично, совершу я что-то большое или нет, потому что внутренне я уверена: что-то из этого да выйдет. Раньше я все время находилась как бы в подготовительной стадии, чувствовала, что все проделанное мною еще «ненастоящее», а лишь подготовка к чему-то другому, «большому», истинному. Но теперь этого нет. Живу сегодня, в эту минуту, жизнь наполнена смыслом и стоит быть прожитой; и если бы я знала, что завтра должна умереть, сказала бы: «Хотя и очень жаль, но так, как это было, — было замечательно». Правда, однажды я уже это теоретически объявляла. Я помню, это было летним вечером с Франсом на террасе «Рейндерс»[8]. Но тогда я так говорила больше от усталости. В смысле: «Ах, знаешь, если бы завтра все кончилось, меня бы это сильно не тронуло, так как мы уже знаем, что такое жизнь. Пускай только в воображении, но мы все уже

испытали, и поэтому не будем судорожно цепляться за эту жизнь…». Думаю, что-то в подобном тоне. Мы чувствовали себя изнуренными, очень старыми и мудрыми людьми. Но все изменилось. А теперь за работу.

Суббота [22 марта 1941], 8 часов вечера. Я не должна расставаться с этой тетрадью, то есть с самой собой, иначе мне будет плохо. Каждый момент существует опасность потеряться, совсем заблудиться. По меньшей мере, сейчас мне кажется именно так. Но, возможно, все это просто от усталости.

Воскресенье, 23 марта [1941], 4 часа. И снова все запуталось. Хочу чего-то, сама не знаю чего. Внутри меня вновь подозрительность, беспокойство… И от сильного напряжения болит голова. С некоторой завистью вспоминаю оба минувших воскресенья: дни лежали передо мной, как открытые, просторные равнины с ничем не заслоненной перспективой, и я свободно шагала по ним. А сейчас я снова в дебрях.

Это началось вчера вечером; беспокойство исходило из меня, как чад из болота.

Вначале решила заняться философией, потом нет, все же лучше эссе о «Войне и мире», или нет, моему настроению больше подходит Альфред Адлер. В результате я оказалась с индусскими любовными историями. Скорее это все же было сражение с естественной усталостью, которой в конце концов я с мудрым благоразумием предалась. А сегодня утром все пошло хорошо. Но когда потом я ехала на велосипеде по Аполлолан, снова напала тоска, недовольство, ощущение пустоты, неудовлетворенность и бесцельные раздумья. В этот момент я вновь попала в болото. И даже мысль, что это тоже пройдет, на сей раз не приносит никакого успокоения.

Понедельник [24 марта 1941], 9.30 утра. Наскоро сделаю лишь одну небольшую запись между двумя фразами моей темы. Странно, но все же S. остается для меня каким-то чужим. Если мимоходом он своей большой теплой рукой погладит мое лицо или изредка неподражаемым жестом кончиками пальцев дотронется до моих ресниц, во мне тут же возникает протест: «Кто тебе сказал, что ты можешь так запросто это делать, кто дал тебе право прикасаться ко мне?» Кажется, сейчас я понимаю почему. Когда мы первый раз боролись друг с другом, я восприняла это как что-то забавное, спортивное, хотя и неожиданное, я сразу вошла *«в курс дела»*, подумав: «Ах, это

наверняка относится к лечению». Так это и было, он подтвердил мне это позже, рассудительно констатируя: *«Тело и душа едины»*. Я, конечно, в тот момент эротически была очень взволнована, но он оставался таким деловым, что я быстро совладала с собой. А когда мы затем сидели друг напротив друга, он спросил: «Послушайте, надеюсь, вас это не возбуждает, в конце концов я же буду к вам везде прикасаться», и в виде пояснения коротко дотронулся руками к моей груди, рукам, плечам. Я подумала тогда примерно так: «Да, дорогой, ты ведь, черт возьми, должен хорошо знать, как я чувственна, возбудима, ты сам мне об этом говорил. Ну ладно, все-таки порядочно с твоей стороны, что ты в этом так откровенен со мной, а я уж постараюсь с собой справиться». Он еще сказал тогда, что я не должна в него влюбляться и что вначале он всем и всегда это говорит. Как-никак проявил свою ответственность, хотя мне от этого стало немного неприятно.

Но когда мы боролись во второй раз, все было совсем по-другому. Он тоже был возбужден. В какой-то момент, лежа на мне, он едва слышно застонал и содрогнулся в древнейшем спазме мира, и во мне, как чад над болотом, взвились низменные мысли, что-то вроде: «О, у тебя прекрасная методика лечения, ты получаешь от этого удовольствие и сверх того еще оплату, хоть и небольшую».

Но то, как он во время борьбы хватал меня, как покусывал мое ухо, оплетал своими большими руками мое лицо, — все абсолютно сводило меня с ума.

Я угадывала спрятавшегося за этими жестами опытного и притягивающего любовника. В то же самое время я находила чрезвычайно низким то, что он злоупотребляет этой ситуацией. Но потом чувство отвращения прошло, а следом за ним, как никогда прежде, между нами возникло доверие и личный контакт. Когда мы еще лежали на полу, он сказал: *«Я не хочу с вами никаких отношений, хотя должен честно признаться, вы мне очень нравитесь»*. И еще что-то о соответствии темпераментов. И немного позже: *«А сейчас подарите мне маленький дружеский поцелуй»*. Но я тогда была к этому еще совсем не готова и робко отвернула голову. Под конец он был опять совершенно беспристрастным, держался естественно и сказал, словно вслух рассуждая о себе: *«Собственно говоря, это так логично. Знаете ли, я ведь был очень мечтательным молодым человеком»*. И тут последовал эпизод из его жизни. Он рассказывал, а я, полная преданности, внимательно слушала, и при этом время от времени он нежно касался руками моего лица.

И вот так с противоречивейшими чувствами я шла домой и

негодовала, потому что находила его подлым. Но вместе с тем и с нежным, глубоким человеческим чувством дружбы, а еще — с сильно возбужденной его изысканными манерами фантазией. На протяжении нескольких дней я была ни на что не способна, могла думать только о нем, хотя, собственно, это можно назвать не «думать», скорее, я тянулась к нему физически. Его большое гибкое тело угрожало мне со всех сторон, он был надо мной, подо мной — везде; грозил меня раздавить. Я не могла больше работать и с ужасом думала: «Боже мой, с кем я связалась. Я пошла за психологической помощью, лечением, пошла, чтобы прийти в согласие с самой собой, а теперь мне хуже, чем когда-либо». Целиком поглощенная ожиданием нашей следующей встречи, я была полна чувственных мечтаний. Это и был тот раз, когда я под платье натянула тренировочное трико и мои бурные фантазии столкнулись с его серьезностью. Потом, задним числом, я смогла это понять. Он оставался хладнокровным и сознательно держался по-деловому, потому что тоже боролся с собой. Спросил: *«Вы думали обо мне на этой неделе?»* На что я ответила что-то несвязное и опустила голову, а он совсем открыто сказал: *«Честно говоря, первые дни я очень много о вас думал»*. Ну да, а потом снова был сеанс борьбы, но об этом я уже много писала. Это было противно и вызвало у меня кризис. Он по сей день не знает, почему я так смущенно и странно вела себя, и думает, это оттого, что он меня так сильно возбудил. Но оказалось, что и он сражался с собой. Сказал: *«Вы для меня тоже проблема»*, и поведал мне, что, вопреки своему темпераменту, он на протяжении двух лет остается верным своей подруге. То, что я для него являюсь *«проблемой»*, было для меня слишком нейтрально и по-деловому, я хотела быть для него «я», хотела, как капризный ребенок, «иметь» этого мужчину, хотя внутренне он был мне неприятен; но однажды в своих фантазиях я вообразила, что он должен стать моим, что я хочу познать его как любовника, и все. Мой тогдашний уровень был не очень высок, но обо всем этом я уже писала.

А теперь я чувствую, что *«не уступаю»* ему, что моя борьба равноценна его борьбе и во мне грязные и благородные чувства тоже ведут ожесточенную схватку.

Но из-за того, что он тогда вдруг, без приглашения, сбросив маску психолога, стал просто человеком и мужчиной, — его авторитет несколько убавился. Он обогатил меня, но и вверг в небольшой шок, нанес рану, пока не зажившую полностью, все еще вызывающую чувство, что он чужой: кто ты, собственно говоря, есть, и кто сказал тебе, что ты обо мне должен заботиться? У Рильке есть один великолепный стих о похожем

настроении, надеюсь снова найти его.

Нашла! Несколько лет назад летним вечером Абраша читал мне это стихотворение вслух на Зойделейке Ванделвег[9], потому что по какой-то невидимой причине он считал, что выраженное в нем соответствует мне. Наверное, потому, что я, вопреки нашей интимности, всегда оставалась чужой. Начинаю понимать это двоякое чувство, опять же благодаря моим трениям с S. и тому способу, каким я с этим справляюсь. Речь идет о двух последних строчках:

> Und hörte fremd einen Fremden sagen:
> Ichbinbeidir[10].

Вторник, 25 марта [1941], 9 часов вечера. И потому что я сама еще так молода и полна несокрушимого желания не дать себя сломить, и потому что чувствую, что, обладая силой, способна заполнить возникшие пустоты, едва ли отдаю себе отчет, какими нищими и одинокими остались мы, молодые. А может, это еще одна форма обезболивания? Бонгер[11] умер, Тер Брак, дю Перрон, Марсман, Пос, ван ден Берг и многие другие — в концентрационном лагере и т. д. Бонгера невозможно забыть. (Странно, во мне снова все всплывает в связи со смертью ван Вейка.)

Несколько часов до капитуляции. Вдруг — тяжелая, неуклюжая, легко узнаваемая, движущаяся там, вдоль Городского катка, фигура Бонгера. На своеобразной, крупной голове — голубые очки. Голова повернута боком к поднимающимся из горящих нефтяных гаваней клубам дыма, которые нависли над городом. Эту тяжело ступающую фигуру с косо поднятой в сторону клубящегося вдали дыма головой я не забуду никогда. Неожиданно для самой себя, не надев пальто, я рванулась к двери, побежала за ним, догнала и сказала: «Добрый день, профессор Бонгер, в эти последние дни я много думала о вас, я хотела бы вас немного проводить». Он взглянул на меня через голубые очки как-то сбоку, и я поняла, что, несмотря на два экзамена и целый год лекций, он не имел ни малейшего представления о том, кто я. Но в те дни люди были так доверчивы друг к другу, что я просто пошла рядом с ним. Смутно помню наш разговор. В этот день началось движение большой волны беженцев в Англию, и я спросила: «Вы думаете, в бегстве есть смысл?» Он ответил: «Молодежь должна остаться здесь». На что я: «Вы верите, что победит демократия?» Он: «Она обязательно победит, но ценой жизни нескольких поколений».

В этот момент он, строгий Бонгер, был беззащитен, как

ребенок, почти кроток. Я внезапно почувствовала неодолимое желание обнять его и вести, как дитя; так и сделав, я шла с ним вдоль Городского катка. Он казался каким-то разбитым и непостижимо добрым. Его пылкость, его строгость потухли. Сердце сжимается, когда думаю о том, каким он тогда был, он — гроза всего колледжа. На площади Яна Виллема Броуера мы попрощались. Я отступила, взяла его руку, он любезно наклонил свою тяжелую голову, взглянул на меня через голубые стекла, за которыми я не узнала его глаз, и с почти комичной торжественностью сказал: «Было очень приятно!»

А когда следующим вечером я заглянула к Беккеру[12], первое, что услышала, было: «Бонгер мертв!» Я сказала: «Это невозможно, еще вчера в семь вечера я с ним разговаривала». На что Беккер: «Тогда вы были одной из последних, кто с ним говорил. В восемь часов он застрелился».

Значит, свои последние слова «Было очень приятно!», по-доброму глядя сквозь голубые очки, он сказал малознакомой студентке.

Бонгер не единственный. Весь мир распадается, но идет дальше, и я, полная смелости и добрых намерений, пока что иду вместе с ним. И все-таки, хоть я и чувствую себя сейчас внутренне настолько богатой, что осознание этого еще полностью не проникло в меня, — нас ограбили. Несмотря на то, что нужно оставаться в контакте с теперешней действительностью и пытаться утвердить свое место в ней, не стоит заниматься исключительно вечными ценностями, это легко может переродиться в страусиную политику. Вычерпать жизнь изнутри и снаружи, не жертвовать ничем внутренним из-за внешней реальности, но и наоборот тоже, — вот в чем я вижу достойную цель. Сейчас почитаю простенькую историю из «Libelle»[13], и в постель. А завтра нужно снова заняться наукой, домом и собой. Ничего не надо запускать, но и не стоит придавать себе слишком много важности. А теперь — спокойной ночи.

Пятница, 8 мая [1941], 3 часа дня, в постели. Надо вновь заняться собой, другого выхода нет. Вот уже несколько месяцев я не открывала эту тетрадку. Жизнь внутри меня была такой светлой, ясной. Контакты с внешним и внутренним миром, расширение личности, настоящее обогащение; общение со студентами в Лейдене: Вил, Эмэ, Ян; учеба, Библия, Юнг, и снова S., и всегда и снова S.

Но вот остановка, смутное беспокойство, или нет, скорее никакого беспокойства, на это нет сил, уж слишком ощутимый во

мне спад. А может, просто физическая усталость, от которой в эту сырую, холодную весну страдает каждый; все окружающее не вызывает во мне никакого отклика.

И все же я прекрасно знаю, что в это состояние меня приводит эта необъяснимая, странная связь с S. Надо снова начать внимательно наблюдать за каждым своим шагом.

8 часов вечера. Человек всегда ищет спасительную формулу или создающий порядок принцип. Недавно в холодную погоду я ехала на велосипеде и вдруг подумала, что, вероятно, я все слишком усложняю, расписываю, не хочу видеть действительность такой, какая она есть. По сути дела я ведь в него не влюблена, это вообще не любовь. Он привлекает меня как человек, и я несказанно много от него узнаю. С тех пор как познакомилась с ним, переживаю процесс развития, о котором в этом возрасте никогда и мечтать не могла бы. Собственно говоря, вот и все. Но теперь вмешалась эта проклятая чувственность, которой мы оба переполнены. Потому-то мы так неудержимо стремимся друг к другу, хотя оба, как мы однажды уже ясно высказались по этому поводу, не хотим этого.

Но потом, к примеру, наступает то воскресенье, кажется, это было 21 апреля, когда я впервые на весь вечер осталась у него. Мы разговаривали. Вернее, посадив меня к себе на колени, говорил только он. Говорил о Библии, потом читал мне вслух из Фомы Кемпийского. Все было еще нормально, никакого волнения, лишь дружеское, человеческое тепло. Но потом он вдруг оказался надо мной, я долго лежала в его объятиях, и вот тогда мне стало нестерпимо грустно. Он целовал мои бедра, а я ощущала себя все более и более одинокой. *«Это было прекрасно»*, — сказал он на прощание, а я шла домой со свинцовым, трагическим чувством. После этого я начала выстраивать всяческие теории о своем одиночестве. Может, я просто не способна всем своим существом отдаться этой физической близости? Я и не люблю его, и знаю, что его идеал — верность одной женщине. Так случилось, что она живет в Лондоне, но речь-то о принципе. Была бы я по-настоящему сильным человеком, оборвала бы всякую физическую близость с ним, делающую меня в глубине души только несчастной. Но пока не могу отказаться от всех этих возможностей общения с ним, которые таким образом пропали бы. И наверное, боюсь ранить его мужское самолюбие, которое, в конце концов, у него тоже должно быть. Но тогда наша дружба поднялась бы на значительно более высокий уровень, и в результате он, пожалуй, был бы благодарен мне за то, что я помогла ему сохранить верность. Однако я лишь крошечное,

жадное человеческое существо. Иногда мне хочется вернуться в его объятия, хотя после этого я снова почувствую себя несчастной. Наверняка тут дело еще и в детском тщеславии. Что-то вроде: все девушки и женщины в его окружении сходят по нему с ума, а я одна (хоть и познакомились мы недавно) так близка с ним. Если подобное чувство действительно сидит во мне, это ужасно. Фактически я рискую всей этой эротикой разрушить нашу дружбу.

8 июня [1941], воскресенье, 9.30 утра. Думаю, каждое утро перед работой на полчаса необходимо «прикоснуться», прислушаться к себе. *«Погрузиться в себя»*. Я бы сказала «медитировать», но это слово до сих пор немного пугает меня. Почему бы и нет? Полчаса наедине с самой собой. Мало по утрам в ванной комнате двигать только руками, ногами и всеми другими мускулами. Человек — это тело и дух. Полчаса гимнастики и полчаса «медитации» могут дать крепкую основу для концентрации на весь день.

Только такой *«час покоя»* — это не так уж просто. Этому надо учиться. Весь мещанский хлам, все лишнее надо внутренне отодвинуть в сторону. Моя маленькая голова всегда полна беспричинным смятением. Бывают, правда, и обогащающие, раскрепощающие чувства и мысли, но обычно они захламлены чем-то ненужным. Цель медитации — внутреннее превращение в широкую равнину без коварно заслоняющих перспективу зарослей. Чтобы могло произрасти нечто божественное, как это слышится в «Девятой симфонии» Бетховена. Чтобы возникла «Любовь». Не получасовая любовь-люкс, которой наслаждаешься, переполненный гордостью за собственные возвышенные чувства, а любовь, с которой можно чего-то достичь в скромной повседневной практике.

Разумеется, можно было бы каждое утро читать Библию, но для этого, думается мне, я еще недостаточно созрела, еще недостаточно велико мое внутреннее спокойствие; я еще слишком сильно пытаюсь постичь смысл этой книги головой, и поэтому не получается проникнуть, погрузиться в нее.

Лучше каждое утро немного читать «В саду философии»[14]. Конечно, могла бы также написать несколько слов на этих голубых линейках; терпеливо, тщательно продумывая отдельные мысли, даже самые незначительные. Прежде из сплошного честолюбия ты вообще не могла ничего писать. Это сразу должно было быть чем-то грандиозным, совершенным, и ты не позволяла себе просто что-то записать, порой даже умирая от желания.

Еще, глупая баба, хочу попросить тебя не смотреть так часто

в зеркало. Быть очень красивой, должно быть, ужасно. Это значит не иметь доступа к своему внутреннему миру, поскольку находишься в плену своей же ослепительной внешности. Окружающие ведь тоже реагируют только на внешность, так что внутренне, пожалуй, совсем усыхаешь. Время, проведенное мною перед зеркалом, потому что меня вдруг привлекло смешное или какое-то интересное выражение моего совсем не такого уж красивого лица, это время можно было бы использовать лучше. Постоянное разглядывание себя ужасно меня раздражает. Правда, временами я себе нравлюсь, но это от приглушенного освещения в ванной комнате. В такие моменты не могу оторваться от своего отражения, представляю свое лицо в разных ракурсах под чьими-то восхищенными взглядами и при этом сочиняю на свою самую любимую тему: обратив лицо к публике, я сижу за столом в каком-то зале, и все смотрят на меня и находят красивой. Хоть ты и утверждаешь, что хочешь совершенно забыть себя, но пока ты так полна тщеславия и фантазий, что в этом «забывании себя» продвинулась не слишком далеко.

Иногда за работой меня неожиданно охватывает желание посмотреть на свое лицо, тогда я снимаю очки и смотрюсь в их стекла. Порой это становится настоящей навязчивой идеей. При этом я очень несчастна, потому что чувствую, как сильно сама себе мешаю. Не помогает, когда я как бы извне заставляю себя не любоваться своим лицом в зеркале. Равнодушие к собственной внешности должно идти изнутри, и в итоге, как я выгляжу, — не должно что-либо значить. Надо бы еще больше жить «внутренне». Другие тоже слишком часто обращают внимание, красив кто-то или нет. Ведь в конечном счете речь идет о душе или о человеческой сущности, назовите как угодно. О том, что человек излучает.

Суббота, 14 июня [1941], 7 часов вечера. Снова аресты, террор, концентрационные лагеря, произвольно вырванные из семей отцы, братья, сестры. Ищешь смысл жизни и спрашиваешь себя, существует ли он еще вообще. Это каждому решать наедине с самим собой — и с Богом. Наверное, у любой жизни — свой собственный смысл, и нужно всю ее прожить, чтобы смысл этот найти. Но сейчас я утратила всякую связь с людьми, вещами, и у меня появилось чувство, что в жизни все случайно и что нужно внутренне отойти от всех и от всего. Все кажется таким угрожающим, зловещим, и вдобавок еще это ужасное бессилие.

Воскресенье [15 июня 1941], полдень. Мы лишь полые сосуды, промываемые волнами мировой истории.

Все — случайность, или ничто не случайность. Я не смогла бы жить, если бы поверила в первое. Но и в последнем я еще не убеждена.

Снова стала чуть сильней. Справляюсь с некоторыми проблемами в себе. Поначалу, правда, при мысли, что у меня ничего не выйдет, склоняюсь к поиску помощи у других, но потом замечаю — что-то пробилось, само получилось, и это дает силы. В прошлое воскресенье (прошла уже неделя) была в отчаянии, чувствовала, что буквально привязана к нему и что поэтому для меня началась несчастнейшая пора. Но, сама не знаю как, я все-таки вырвалась из этого состояния. Не то чтобы я себя упрекала. Напротив. Я изо всех духовных сил тащила воображаемый канат, я неистовствовала и защищалась, и внезапно почувствовала, что снова свободна. После этого было несколько коротких встреч (вечером на скамейке на Стадионной набережной, поход в город за покупками), по интенсивности, во всяком случае для меня, более сильных, чем когда-либо прежде. И благодаря этому освобождению вся моя любовь, мое понимание, мой интерес и моя радость были полностью направлены на него. Я ничего не требовала, ничего не хотела, я принимала его таким, какой он есть, и наслаждалась его присутствием.

Мне бы очень хотелось понять, как я справилась с этим, как освободилась. Пока что мне это не ясно. А надо бы в этом разобраться, потому что в дальнейшем я, может, смогу помочь другим людям с подобными проблемами. Возможно, это и есть лучшее сравнение: один человек канатом привязан к другому. Он тянет, дергает его, пока не освободится. Позже, наверное, этот человек и сам не сможет объяснить, каким образом вырвался, он только знает, что освободился и что отдал этому все свои силы. Наверняка с психической точки зрения так со мной и было. И еще я поняла: рассуждения не помогут. Так же, как объяснения и поиски причин. Нужно просто духовно трудиться и во имя результата не жалеть энергии.

В какой-то момент мне вчера подумалось, что я не в состоянии жить дальше, что мне необходима помощь. Я больше не понимала ни смысла жизни, ни смысла страдания. Было ощущение, что на меня *обрушилась* огромная тяжесть. Но в то же время внутреннее сражение привело к тому, что я стала крепче. Я попыталась прямо, честно посмотреть в глаза горю всего человечества, объясниться с ним, или лучше сказать, что это объяснение каким-то образом произошло внутри меня и я

получила ответ на многие безнадежные вопросы. Бессмысленность уступила место определенному порядку, взаимосвязанности событий, и вот я снова могу идти дальше. Это была короткая, но жестокая битва, из которой я вышла чуть более зрелой.

Я сказала, что разобралась с *«горем человечества»* (меня все еще пугают громкие слова), но это не совсем так. Скорее так: я воспринимаю себя небольшим полем сражения, на котором решаются вопросы и разыгрываются битвы этого времени.

Единственное, что можно сделать, — смиренно предоставив себя, стать полем битвы этого времени. Ведь должны же эти проблемы иметь пристанище, должны найти место, где бы они могли схлестнуться, а затем успокоиться; и мы, бедные маленькие люди, должны открыть для них наше внутреннее пространство, мы не должны бежать от них. Может, я в этом отношении слишком гостеприимна? Порой я становлюсь прямо-таки полем кровавых столкновений и расплачиваюсь чрезмерной усталостью и сильной головной болью. Но сейчас я снова полностью «я», Этти Хиллесум, прилежная студентка в уютной комнате с книгами и вазой с ромашками. Я прокладываю свою собственную узкую колею, и контакт с *«человечеством», «мировой историей», «горем»* снова прерван. Так должно быть, иначе можно окончательно сойти с ума. Нельзя постоянно теряться среди великих идей, быть вечным полем битвы. Развиваясь благодаря опыту, приобретенному в почти безличные моменты общения со всем человечеством, необходимо все время ощущать пределы, внутри которых ты проживаешь свою собственную маленькую жизнь. Надеюсь, что когда-нибудь я сформулирую это лучше, а может, предоставлю выразить это герою моего рассказа или романа, но произойдет это еще не скоро.

Вторник, утро 17 июня [1941]. Если ты довела свой желудок до боли, то пришло время начать соблюдать разумную диету, а не злиться, как ребенок, на обилие вкусных вещей, якобы виновных в твоем состоянии; следила бы лучше за своей собственной невоздержанностью.

Вот она, приобретенная мною за сегодняшний день мудрость, которой я вполне удовлетворена. И эта постоянно грызущая меня изнутри печаль постепенно начинает исчезать.

Среда, утро 18 июня [1941], 9.30. Нужно снова вспомнить старую истину: *Погруженный в себя человек не считается со временем; развитие — вне всякого времени.*

Первоисточником всегда должен являться не другой человек, а сама жизнь. Многие же, особенно женщины, черпают силы не из жизни, а из других людей. Это до невозможности искажено и противоестественно.

4 июля [1941]. Во мне беспокойство, странное, дьявольское беспокойство, которое могло бы быть продуктивным, если бы я знала, что с ним делать. *«Творческое»* беспокойство. Ничего телесного. Его не смогла бы унять даже дюжина пылких любовных ночей. Это чуть ли не *«святое»* беспокойство. О Господи, возьми меня в свои большие руки и сделай меня своим инструментом, сделай так, чтобы я писала. А все благодаря рыжеволосой Лени и философствующему Йоопу. Хотя S. своим глубоким анализом поразил их в самое сердце, я все же чувствовала, что человека нельзя объять какой-либо психологической формулой, иррациональное в человеке подвластно только художнику.

Не знаю, что делать с этим «писать» во мне. Во мне все еще слишком хаотично, не хватает уверенности в себе или, скорее, острой потребности высказаться. Я все еще жду, что все само собой выльется наружу и примет форму. Но сначала ее надо найти, самой найти свою собственную форму.

Дни в Девентере[15] были как солнечные равнины, каждый был большим, непрерывным целым. Контакт с Богом и со всеми людьми был возможен, наверное, потому, что людей я почти не видела. Мне никогда не забыть пшеничные поля, перед которыми хотелось преклониться, и берега Эйссела с цветными зонтиками, крышами из камыша и терпеливыми лошадьми, и солнце, которое я вбирала всеми своими порами. Здесь же дни разбиты на тысячи кусков, просторные равнины исчезли и Бог тоже куда-то затерялся. Если так будет долго продолжаться, я начну спрашивать себя о смысле всего сущего, и это не будет чем-то глубоко философским, а будет лишь свидетельством того, что мне плохо. И потом это странное беспокойство, о происхождении которого мне неизвестно. Но могу себе представить, что позже, когда научусь им управлять, из него может родиться хорошее произведение.

Но до этого, дорогая моя, еще далеко; сперва у неистовых волн надо отвоевать побольше твердой почвы и внести в хаос порядок. Это мне напомнило недавнее замечание S.:

> «Вы не так уж хаотичны, в вас просто живет еще воспоминание о прошлом, когда вы считали, что

гениальнее быть хаотичным, чем дисциплинированным. Я нахожу вас очень сосредоточенным человеком».

Понедельник, 4 августа 1941 года, 14.30. Он говорит, что любовь ко всем людям больше, чем любовь к одному человеку. Так как любовь к одному человеку это всего лишь любовь к самому себе.

Он — зрелый 55-летний мужчина, достигший любви ко всем людям после того, как в течение долгих лет любил многих людей. Я — маленькая 27-летняя женщина, я тоже несу в себе сильную любовь ко всему человечеству и все же задаюсь вопросом, не буду ли я всю жизнь искать одного-единственного мужчину.

И еще спрашиваю себя, до какой степени может дойти женская ограниченность. Связано ли это с многовековой традицией, от которой она должна освободиться, или же это настолько свойственно женской сути, что она, дабы подарить свою любовь всему человечеству вместо одного-единственного мужчины, должна подвергнуть себя насилию. (Совместить это у меня пока не получается.) Может, в науке и искусстве потому так мало выдающихся женщин, что они всегда находятся в поиске человека, которому могут отдать всю свою мудрость, тепло и любовь. Женщина ищет человека, а не человечество.

Женский вопрос не так прост. Иногда, встретив на улице какую-нибудь красивую, ухоженную, очень женственную, глуповатую особу, я могу совсем потерять равновесие. В такие моменты свое восприятие жизни, внутреннюю борьбу, страдания я чувствую чем-то угнетающим, уродливым, неженственным. И хочется быть только красивой, глупой, желанной игрушкой для мужчины. Для меня типично — хотеть быть желанной для мужчины, потому что для женщины это всегда является доказательством того, что она женщина, хотя само по себе это жутко примитивно. Чувство дружбы, уважения, любви для нас как людей — замечательные вещи. Но не мечтаем ли мы главным образом о том, чтобы мужчина ценил в нас женские качества? Все, что я хочу сказать, — бесконечно сложно, и записать сие мне пока слишком трудно. Однако это настолько существенно, что стоит того, чтобы в нем разобраться.

Вероятно, настоящая эмансипация женщин должна еще только начаться. Женщина пока что не человек, она — самка. Она скована, она опутана вековой традицией. Как человек женщина должна еще родиться, здесь ей предстоит большая работа.

Что сейчас с нами, со мной и S.? Если я смогу надолго

установить ясность в этих отношениях, то, пусть это и громко сказано, придет ясность и в мои отношения со всеми людьми, со всем человечеством. Позволь себе эту патетику, позволь себе спокойно записывать все именно так, как оно в тебе есть, и когда все это патетическое и преувеличенное выйдет наружу, тогда, быть может, ты придешь к себе.

Люблю ли я S.? Да, неистово.

Как мужчину? Нет, не как мужчину, как человека. Или, возможно, меня больше притягивает исходящее от него тепло, любовь, стремление к добру. Нет, это все не то, совсем не то. Это что-то вроде черновика, в котором время от времени я пытаюсь что-то набросать, оформить свои мысли. Может быть, все эти обрывки в конце концов сложатся в одно целое. Но я не должна бежать ни от себя, ни от сложных проблем; я бегу не от этого, а только от трудности изложения. Все кажется таким беспомощным. Но ты же не ждешь от себя никаких шедевров? Ты здесь, на бумаге, ищешь ясности для самой себя. Ты стесняешься себя, не доверяешь себе, не позволяешь своему нутру выйти наружу, потому что еще страшно зажата, зажата именно потому, что не принимаешь себя такой, какая ты есть.

Нелегко одинаково ладить и с Богом, и с плотью. Эта мысль недавно не оставляла меня в покое на одном музыкальном вечере, на котором присутствовали и S., и Бах. Как же сложно с S.! Он сидит там, излучая много человеческого тепла и сердечности, которым ты отдаешься без задней мысли. Но в то же самое время это здоровенный мужик с очень выразительным лицом, с большими чувственными руками, которые он периодически к тебе протягивает, с глазами — без преувеличения способными ласкать, ласкать с трогательной сердечностью. Разумеется, безлично. Он ласкает человека, не женщину. А женщина хочет ласку как женщина, а не как человек. Так, по крайней мере, иногда чувствую я. Но он ставит перед тобой огромную задачу, над которой приходится долго биться. В одну из наших первых встреч он сказал мне, что я для него *«проблема»*, но и он для меня тоже сложная *«проблема»*. Хватит, надо остановиться. По мере того как пишу, мне становится только хуже, а это значит, что у меня не получается точно передать все происходящее во мне на самом деле.

Но иначе не получится, все равно придется решать свои проблемы. При этом мне всегда кажется, что, столкнувшисьс ними и разрешив их для себя, я освобожу от них тысячи других женщин. Но жизнь действительно трудна, особенно когда не находятся нужные слова.

Постоянное, начиная с детства, глотание книг — не более чем моя лень. Я даю другим сформулировать то, что должна была бы выразить сама. И вместо того, чтобы добиваться ясности своими собственными словами, — везде ищу подтверждение тому, что живет и бродит во мне. Чтобы когда-нибудь прийти к себе, а от себя к другим, я должна отделаться от всей этой лени и в первую очередь от зажатости и неуверенности. Я должна достичь ясности и принять себя. Во мне все такое тяжелое, а так хотелось бы легкости. На протяжении многих лет я все вбираю в себя, накапливаю, но когда-нибудь это должно выйти на поверхность, иначе мне будет казаться, что я напрасно жила, будто я только грабила человечество и ничего не дала ему в ответ. Порой у меня возникает ощущение, что я — паразитирующее существо, и вследствие этого — сильная подавленность, сомнения по поводу того, приношу ли я вообще пользу. Может быть, моя миссия — разобраться, основательно разобраться со всем, что меня донимает, будоражит, что кричит во мне в поиске формулировки и решения. И это не только мои собственные проблемы, это проблемы многих людей. И если к концу долгой жизни мне удастся найти форму для того, что пока во мне лишь хаотично, тогда, может быть, я выполню свою собственную маленькую миссию. По мере того как пишу, в моем подсознании поднимается нехорошее чувство. Из-за слов: «миссия», «человечество», «решение проблем». Они мне кажутся слишком претенциозными, а сама я кажусь себе при этом наивной девицей. Но я знаю, это от нехватки смелости. Нет, дорогая, тебе еще так далеко до этого, и до тех пор, пока ты не начнешь принимать себя всерьез, тебе следовало бы запретить себе даже прикасаться к разным глубокомысленным философам.

Думаю сначала все же пойти за дыней, которой сегодня вечером хочу угостить Нэтэ[16]. Это ведь тоже относится к жизни.

Бывает, что я кажусь себе мусорным ведром, так много во мне путаницы, тщеславия, нерешительности. Но и глубокой искренности, и почти стихийной, страстной потребности в ясности, в гармонии между внешней и внутренней жизнью. Иногда мечтаю о келье в монастыре с вековой мудростью на книжных полках вдоль стены, с видом на хлебные поля (это должны быть обязательно хлебные поля, и они должны волноваться на ветру), и там бы я погрузилась в столетия и в себя. И со временем ко мне бы пришли покой и ясность. Но это слишком просто. К ясности, покою и равновесию я должна прийти сейчас, здесь, в этом самом месте и в этом мире. Каждый раз, сталкиваясь с тем, что встает на пути, мне надо возвращаться к реальности, впитывать внешний мир для внутреннего, и

наоборот. Это ужасно трудно! Ну почему у меня так болит душа…

Помню тот день и нас на лугу. S. со своей такой впечатляющей головой пристально всматривается в даль. Я: *«О чем вы сейчас думаете?»* Он: *«О терзающих человечество демонах»*. Это было после того, как я рассказала, что Клаас до полусмерти избил свою дочь за то, что она не принесла ему яду. Он сидел под раскидистым деревом. Положив голову к нему на колени, я неожиданно сказала, вернее, это вдруг как-то вырвалось из меня: *«А сейчас я хочу один недемонический поцелуй»*. Он: *«Тогда вы должны его взять сами»*. На что я, словно ничего не говорила, сначала резко встала, но вслед за этим мы уже лежали на лугу, уста к устам. А после он спросил: *«Вы это называете недемоническим поцелуем?»*

Но что он, этот поцелуй, значит при наших отношениях? Будто повиснув в воздухе, он довел меня до желания полного обладания этим человеком, и все же я не хотела этого. Я вообще люблю его не как мужчину. Это сумасшествие или это чертово стремление владеть кем-то, чтобы придать себе важности? Владеть физически, несмотря на то, что владею им духовно, что ведь намного важнее. Может, это и есть та проклятая нездоровая традиция, по которой два существа разного пола при тесном общении считают, что должны в то же самое время хотеть и физической близости? Во мне это очень сильно. Всегда при встрече с мужчиной сразу пытаюсь оценить, каковы его сексуальные возможности. Это плохая привычка, которую надо бы искоренить. Пожалуй, он в этом преуспел больше, и все-таки он должен сопротивляться своему чувственному влечению по отношению ко мне. Мы оба друг для друга — проблема. Иногда то, что мы словно намеренно создаем себе такие сложности, когда все могло бы быть так просто, выглядит чистой глупостью.

Между тем дыни, должно быть, уже распроданы. Чувствую себя гниющей изнутри, во мне сидит какой-то ком, и физически мне тоже паршиво. Не мудри, это не тело, это в тебе бродит твоя истерзанная маленькая душа.

Через некоторое время, наверное, я снова напишу, что жизнь все же прекрасна и я счастлива, но сейчас не могу себе даже представить, как это со мной может быть.

Пока нет никакого лейтмотива, нет постоянного глубокого течения, питающего мой исчезающий внутренний источник, и, кроме того, я слишком много думаю.

Мои идеи висят на мне, как просторное платье, до которого еще надо дорасти. Мой дух гонится вслед за интуицией, что, конечно, во всех отношениях неплохо, но дух или ум, назовите

как угодно, дабы ухватиться за подол моих различных предчувствий, часто испытывает ужасное напряжение. Всевозможные неопределенные идеи порой требуют конкретной формулировки, но, может, они для этого еще недостаточно созрели. Нужно *вслушаться* в себя и при этом, чтобы сохранить равновесие, хорошо питаться и спать. А иначе, хотя акцент в наше время ставится совсем на другое, — несколько отдает достоевщиной.

Девентер, пятница [8 августа 1941], 10.15 утра. От S., негодяя, писем пока нет. Охотно посмотрела бы на него, окруженного множеством набожных дочерей там, посреди беспорядочного хозяйства в Вагенингене.

Когда я спустилась, первыми мамиными словами было: «Я чувствую себя такой несчастной». Удивительно, стоит отцу лишь тихо вздохнуть, как мое сердце прямо разрывается, а когда мама патетически объявляет, что чувствует себя несчастной, что снова не сомкнула глаз и т. д., — меня это не трогает.

Прежде, встав поздно в совершенно разбитом состоянии, я думала: «Ну, вот день и пропал, я уже ничего не сделаю». Сейчас тоже неприятное чувство, будто чего-то не успею. Могла бы на эту тему написать целую психологическую статью, но я решила не браться за «трудные» вещи, пока они не станут проще. Понятия не имею, чем мне заняться. У меня в этом доме нет своего угла, и раз я не могу здесь полноценно поработать, то надо попытаться как можно лучше отдохнуть.

Что за балаболка эта баба! Господи, может, хватит уже жаловаться. Это моя реакция на маму, принадлежащую к людям, которые буквально вытягивают из тебя последние жилы. Я пытаюсь быть к ней объективной и хоть немного любить, но каждый раз снова и снова убеждаюсь, какой она смешной и глупый человек. Да, это плохо, что я здесь не живу. Но дайте мне жить так, как я хочу. Здесь же моя жизнь прерывается, и для серьезной работы мне не хватает энергии, которую из меня словно выкачивают.

Сейчас 11 часов, а я только успела посидеть на холодном подоконнике перед неряшливым столом с завтраком и прослушать патетические высказывания моей мамы о разных сортах масла, о ее здоровье и прочих подобных вещах. И вместе с тем ее нельзя назвать никчемным человеком. В том-то и состоит вся трагедия. Это количество неразрешенных проблем, быстро меняющиеся настроения тебя просто выбивают из колеи. Здесь царят хаос и подавленность, отражающиеся в домашнем

беспорядке. И при этом мама уверена, что она отличная хозяйка. На самом же деле своими вечными бытовыми заботами она всех только отпугивает. У меня здесь всегда начинается головная боль. Ну, что еще? Жизнь в этом доме увязла в мелочах, и эти мелочи, поглощая тебя, не дают добраться до сути. Останься я здесь надолго, окончательно стала бы неврастеником. И ничего нельзя сделать: ни помочь, ни вмешаться. Здесь все так зыбко. Тем вечером, когда я с жаром рассказывала о S. и его работе, все реагировали замечательно, были воодушевлены, полны фантазии и юмора. Укладываясь после этого спать, я с добрым чувством подумала, что в общем-то они милые люди. Но на следующий день — снова сплошной скепсис и нелепые шутки. Будто они уже с недоверием воспринимают свое вчерашнее воодушевление. И снова эта возня, прозябание. Теперь, Этти, соберись. От боли в животе тоже мало радости. Думаю, что посплю днем часок, а затем схожу в библиотеку, поработаю над Пфистером[17]. Все же надо быть благодарной за то, что у меня здесь находится время для себя. Ну так используй же его, дурочка, бога ради. Все, конец пустой болтовне.

11 часов вечера. Мне кажется, что постепенно между нами может возникнуть действительно настоящая дружба. Дружба в полном значении этого слова. Внутренне я настроена очень серьезно. Это не та серьезность, которая парит над действительностью и которая позже снова покажется мне неестественной и преувеличенной. По крайней мере я так не думаю. Когда сегодня в шесть вечера пришло его письмо (я как раз, насквозь промокшая под дождем, вернулась из Горссела), во мне вообще не было никакой внутренней связи с этим письмом. Духовно и физически я была смертельно уставшей и не знала, что с ним делать. Потом, лежа на кровати и еще раз внимательно исследовав знакомый почерк, я ощутила сильное чувство принадлежности к этому человеку. Я почувствовала, как он может быть важен для моего дальнейшего духовного развития, если я всегда серьезно и честно буду *обращаться* с ним, с собой и с тем множеством проблем, которые встают передо мной в связи с этими отношениями. *Глубокая осмысленность*. Я должна отважиться прожить жизнь, полную *«осмысленности»*, и при этом не казаться себе важной, не быть сентиментальной или неестественной. И его, S., надо рассматривать не как цель, а как средство для дальнейшего роста. Не надо хотеть владеть им. Да, это правда, женщина ищет конкретности тела, а не абстрактности духа. Центр тяжести женщины находится в одном-единственном мужчине, а центр тяжести мужчины — в мире. Может ли

женщина, так сказать, без насилия над своей сущностью переместить свой центр тяжести? Этот и многие другие вопросы возникли у меня по прочтении его благотворного письма.

Быть опорой для другого человека. Дружбе тоже нужна цель.

Здесь, дома, — странная смесь варварства и высокой культуры. Духовное богатство — на расстоянии протянутой руки, но оно никому не нужное, бесполезное, беспорядочно брошенное в кучу. Какой же это депрессивный, трагикомичный, одному богу известно, что за ненормальный дом. Человек не может здесь развиваться.

Нет, мне не дается описание повседневных вещей. Но они мне и не важны.

Среда [13 августа 1941]. Конечно, с моей натурой мне никогда не достичь ледяной, хладнокровной объективности. Я слишком темпераментна для этого. Но все-таки мой темперамент не вредит мне так, как раньше. Дан разбился, выпав из самолета. И днем и ночью постоянно погибает так много крепких, многообещающих молодых людей. Не знаю, как вести себя. Кругом большое горе, и от этого стыдно за все мои всерьез принимаемые настроения. Но такое восприятие себя необходимо. Необходимо сфокусироваться на себе и попытаться справиться со всем, что происходит в мире. Ни перед чем нельзя закрывать глаза, нужно *столкнуться* с этим страшным временем и попытаться найти ответ на множество поставленных им вопросов о жизни и смерти. И, быть может, не только для себя, но и для других тоже. Я живу всего один раз. Я должна всему посмотреть в глаза. Порой кажусь себе столбом, стоящим посреди штормящего моря и избиваемым со всех сторон волнами. Но я стою, стою и со временем разрушаюсь. Хочу все испытать сполна. Хочу быть летописцем многих вещей этого времени (внизу — светопреставление, отец рычит: «Ну, иди уже» и хлопает дверью; это тоже должно быть переработано, и вот я уже плачу, значит, я еще не столь объективна; нет, в этом доме просто невозможно находиться, ну, давай, дальше). Да, я остановилась на «летописцем». Замечаю, что наряду с познанием субъективных страданий во мне растет объективное любопытство, страстный интерес ко всему, что касается этого мира, людей и моих собственных душевных исканий. Иногда думаю, что в этом и состоит моя миссия. Я должна разобраться во всем происходящем вокруг меня и позже описать это. Бедная моя голова, бедное сердце, сколько вам придется еще переработать. Богатая голова, богатое сердце, какая же у вас прекрасная жизнь. Вот я уже и не

плачу. Но в голове ужасное напряжение. Здесь ад. Могла бы уже получше это выразить на бумаге. В любом случае я вышла из этого хаоса и теперь должна прийти к более высокому порядку. S. называет это «строить из благородного материала». Дорогой ты мой…

Меня так часто отвлекают окружающие шокирующие события, что потом я с большим трудом нахожу дорогу назад, к себе. И тем не менее это необходимо. Нельзя терять себя из-за некоего чувства вины. Обретая ясность, нельзя позволить себе погрязнуть в происходящем.

Стихотворение Рильке точно так реально и важно, как разбившийся юноша, это нужно усвоить раз и навсегда. На этом свете все происходит лишь один раз. И ты не имеешь права отрекаться от одного во имя другого.

Теперь иди спать. Тебе придется принять множество противоречий. Хотелось бы, правда, переплавив их в единое целое, тем или иным образом упростить все в своей душе, тогда бы и жизнь для тебя стала проще. Однако жизнь состоит именно из противоречий, они все принадлежат ей и как таковые должны быть приняты. При этом не надо одному придавать более высокое значение за счет другого. Пусть все идет своим чередом, и, может быть, из этого еще выйдет единое целое. Я же сказала тебе, что надо идти спать, а не писать о том, что ты пока совсем не умеешь формулировать.

11 часов вечера. Вот наконец настал момент покоя, затишья. Мне больше не нужно ни о чем думать. Может быть, конечно, благодаря четырем таблеткам аспирина.

Из диалога между папой и мной во время прогулки вдоль Сингела[18]:

> Я: «Мне жалко любую женщину, имеющую дело с Мишей[19]».
>
> Папа: «Мальчик популярен, тут ничего не поделаешь».

23 августа 1941, суббота, вечер. Снова надо начать очень точно записывать свои настроения, иначе становится все хуже. Это уж слишком, что из-за дурацкой простуды я снова все вижу в черном цвете. Как же это было?

В четверг вечером в поезде из Арнема сюда все еще было хорошо. За окнами тихо, широко и величественно опускалась ночь. Пригородный поезд был битком набит шумными, подвижными, полными жизни рабочими. А я, забившись в темный

угол, одним глазом смотрела на умиротворенную природу, а другим наблюдала за выразительными лицами и бойкими жестами людей. Все было хорошо: и жизнь, и люди. Потом — сквозь почти совсем темный, словно заколдованный город — долгая дорога от станции домой. И пока я шла, неожиданно возникло чувство, будто я не одна, а «вдвоем». Я была одна и вместе с тем как бы состояла из двух личностей, по-доброму прижимающихся и приятно согревающих друг друга. Очень тесный контакт с самой собой, и от этого — сильное тепло внутри и ощущение полной самодостаточности. При этом возбужденном общении с собой, с удовольствием шагая по Амстел-аллеям, я с удовлетворением отмечала, что мне в моем обществе хорошо, что я в нем уживаюсь. Это чувство присутствовало и на следующий день тоже. А когда вчера днём, взяв для S. сыр, я шла через красивую южную часть города, то показалась себе древним, окутанным облаком богом. Этот образ, должно быть, взялся откуда-то из мифологии: странствующий в облаке бог. Это было облако моих собственных мыслей и чувств. Оно укутывало меня, сопровождало, мне в нём было так тепло, так надёжно. А теперь в голове простуда, и ничего, кроме неуюта и отвращения. Непостижимое отвращение к людям, которых обычно я люблю. Все вызывает негатив, недовольство, критику. Как-то странно, что все это из-за заложенного носа. Вообще, мне не свойственно неприятие окружающих. Когда физически не по себе, лучше бы совсем отключать этот «думательный аппарат», но, как правило, именно тогда он начинает особенно рьяно работать и низвергать все, что только можно низвергнуть. В любом случае, было бы разумно отправиться сейчас в постель. Я и правда чувствую себя какой-то измученной. Быть может, не так уж страшно, что действия не соответствуют мыслям.

Меня сильно разозлило, что сегодня вечером должен вернуться домой Ханс. Как только во мне прорывается это отвращение к людям, его оно касается в первую очередь. Возможно, потому, что он из моего ближайшего окружения. Его возвращение пугало меня, я ожидала застать вялого, нагоняющего скуку угрюмого парня. А он после парусного лагеря вошел свежий и здоровый, и я вдруг поймала себя на том, что очень живо, приветливо с ним разговариваю, что с интересом рассматриваю его загоревшее лицо с прямодушными, немного изменчивыми голубыми глазами. Потом возбужденно общалась с ним, бросилась варить для него суп, и, в принципе, любила его, как люблю каждое божье создание. Не думаю, что в моем поведении было что-то вынужденное, напротив, для меня неестественно и чуждо внутреннее раздражение. Итак, надо постараться лучше

владеть собой. Что это может значить для сегодняшнего вечера? А то, что, если я не могу ни работать, ни читать, — лучше пойти спать.

26 августа [1941], вторник, вечер. Во мне есть очень глубокий колодец. А в нем — Бог. Иногда я могу добраться до него. Но бывает, что колодец забит камнями, щебнем, и тогда моего погребенного Бога нужно откапывать.

Я представляю себе людей, которые, молясь, возводят глаза к небу. Они ищут Бога вне себя. И есть другие, они опускают голову, прячут ее в ладонях. Эти люди ищут Бога внутри себя.

4 сентября [1941], четверг, 10.30 вечера. Жизнь состоит из историй, желающих моего пересказа. Ну и бред. В общем-то, я этого не знаю. Просто я опять несчастна. И ужасно хорошо представляю себе людей, впадающих в пьянство или готовых лечь в постель с совершенно чужим человеком. Но это не для меня. Я должна пройти через все с ясной, трезвой головой. И одна. Хорошо, что его сегодня вечером не было дома. А то бы я снова побежала. Помоги же мне, я так несчастна, я погибаю. А от других требую, чтобы они со своим хламом справлялись в одиночку. *Вслушиваться в себя*. Да, именно так. И тогда, забившись в дальнем углу комнаты, я села на пол и низко опустила голову. И так, совсем тихо, сосредоточенно сидела в покорном ожидании новых сил. Но мое сердце было словно засорено, через него ничего не текло, все каналы были забиты илом, а мозг зажат в жестких тисках. Так, съежившись, я сидела и ждала, ждала до тех пор, пока что-то не начало таять, пока не заструилось…

Чтение всех писем его *подруги* оказалось для меня слишком тяжелым грузом. Я бы хотела быть совсем простой, как, например, луна сегодня вечером, или как луг. Да, я воспринимаю себя слишком серьезно. В такой день, как сегодня, мне кажется, что никто не страдает так тяжело, как я. Моя душа, или назовите это по-другому, испытывает боль, сравнимую с болью тела, до которого невозможно дотронуться даже кончиком пальца. Малейшее впечатление причиняет страдание. Душа без оболочки. По-моему, что-то похожее однажды писала г-жа Ромейн о Карри ван Брюгген[20]. Как бы мне хотелось далеко-далеко уехать и каждый день видеть других, неизвестных мне людей. Порой мне кажется, будто те немногие люди, с которыми я сильно связана, загораживают мне вид. Вид на что? Этти, ты негодяйка, у тебя нет ни стыда, ни совести. Ты бы прекрасно смогла сама проанализировать и объяснить свои мрачные настроения, сопровождаемые сильной головной болью. Но нет, на это нет

желания, для этого ты слишком ленива. Господи, помоги мне стать смиреннее.

Разве я так уж сильно занята? Я хочу познать этот век, познать снаружи, изнутри. Каждый день ощупываю его, провожу кончиками пальцев вдоль контуров времени. Или это всего лишь мой вымысел?

Потом я снова погружаюсь в реальную жизнь, сталкиваясь со всем, что встречается на моем пути. Оттого временами такое горькое чувство. Оно возникает, когда я изо всех сил, до шишек и ссадин, сражаюсь с тем, что меня окружает. Но это все в моем воображении. Будто я нахожусь в адовом чистилище и во что-то перековываюсь. Во что? Это во всех отношениях нечто пассивное, и не надо этому противиться. Но следом всегда чувство, будто все проблемы, в особенности этого времени, и вообще проблемы всего человечества должны быть до конца решены именно в моей маленькой голове. И это уже активное. Ладно, худшее снова миновало. Я, шатаясь, как одуревший пьяница, плелась вдоль Городского катка и говорила вечной луне всякие безумные вещи. Луна ведь тоже не вчера родилась. Таких типов, как я, она повидала немало, и вообще, такого насмотрелась. Ну да, мне суждена тяжелая жизнь. Временами нет на нее больше ни сил, ни желания, потому что заранее знаю, как все будет. И приходит такая усталость, что кажется, вовсе необязательно все это пережить еще и в действительности. Однако жизнь каждый раз берет верх, и мне все снова видится *«интересным»*, увлекательным, я отважна и полна идей. Нужно, как он говорит, *«давать себе передышки»*. Но я, пожалуй, глубоко застряла посреди такой *«передышки»*. А теперь — спокойной ночи.

Вот еще что пришло на ум. Возможно, я себя действительно слишком «серьезно воспринимаю», но мне хотелось бы, чтобы и другие тоже меня воспринимали «серьезно». Например, S. Мне хотелось бы, чтобы он знал, как сильно я страдаю, но в то же время я это от него скрываю. Имеет ли это что-то общее с тем противостоянием, которое я так часто испытываю по отношению к нему?

Пятница [5 сентября 1941], 9 часов утра. Чувствую себя как выздоравливающий после тяжелой болезни человек. Еще немного кружится голова, и слабость в ногах. Вчера мне было очень плохо. Думаю, что внутренне живу недостаточно просто, чересчур растрачиваю себя в *«необузданности чувств»*, в вакханалиях духа. Наверное, излишне идентифицирую себя со всем, что читаю и изучаю. Так, например, кто-то вроде Достоевского все еще может подкосить меня. Действительно надо

стать проще. Больше отдаваться жизни, не хотеть мгновенных результатов. Теперь мне известно мое лекарство. Необходимо только сесть в углу на корточки и, собравшись в клубок, вслушаться в себя. Ведь одними мыслями я недалеко продвигаюсь. Это прекрасное, достойное занятие для учебы, но из тяжелого душевного состояния, только думая, себя не «вытащить». К этому надо подходить иначе. Нужна пассивность, нужно, прислушиваясь к себе, находить контакт с маленьким кусочком вечности.

Правда, стать бы проще, менее заносчивой, и в работе тоже. Когда я перевожу простой русский текст, в глубине моей души возникает вся Россия, и я считаю, что должна написать по меньшей мере такую книгу, как «Братья Карамазовы». С одной стороны, я предъявляю к себе очень высокие требования, и в истинно вдохновенные моменты чувствую себя способной на многие вещи, но вдохновение надолго не задерживается. В обычное время становится вдруг страшно, что ничего из того, что чувствую в себе в *«возвышенные»* мгновения, не осуществится. Но почему обязательно нужно что-то осуществлять? Я должна только жить и пытаться быть человеком. Не всем можно овладеть с помощью разума, кое-где нужно давать возможность пробиваться источникам чувств, интуиции. Мне известно, что в знании — сила, и, может быть, именно поэтому, из честолюбия, я стремлюсь к нему. Как там оно на самом деле? Господи, дай мне лучше вместо знаний мудрость. Или еще лучше — только знание, ведущее к мудрости. Такого человека, как я, не сделает счастливым знание, олицетворяющее силу. Немного покоя, мудрости и много милосердия. Когда я это в себе чувствую, мне хорошо. Поэтому и была так задета, когда эта изысканная г-жа Фри Хейл, скульптор, сказала S., что будь у меня в придачу дикий конь, на котором я бы мчалась через степь, — выглядела бы как татарка. Человек не много знает о самом себе. В одном письме к S. Герта[21] написала: *«Вчера ты возложил на меня свои руки».*

Вообще-то для меня нет реальности, и я не совершаю никаких подвигов, потому что не понимаю их важности и значения. Одна строчка Рильке для меня реальнее переезда на новую квартиру или чего-то в этом роде. Пожалуй, я всю свою жизнь просижу за письменным столом. И все-таки не думаю, что я — размечтавшаяся дура. Меня чрезвычайно интересует действительность, но только за письменным столом, едва ли для того, чтобы в ней жить и действовать. А чтобы постичь людей, их идеи, надо хорошо знать существующий мир, знать фон, на котором все развивается.

Вторник, 9 сентября [1941], утро. Он — как двигатель для очень многих женщин. Хенни[22] в одном из своих писем называет его «мой Мерседес, мой большой, любимый, добрый Мерседес». *«Малышка»* живет над ним. Он говорит, что когда она с ним борется, то выглядит как большая, осторожная, боящаяся причинить боль кошка. В пятницу вечером он позвонил Рит, этому восемнадцатилетнему ребенку, и его голос прямо-таки струился: «Да, Р-и-и-т». Тем временем его правая рука гладила мое лицо, а на маленьком столе лежало письмо от девушки, которую он хочет назвать своей женой, и слова: *«Ты мой любимый, Юл»* были прямо сверху, и я постоянно на них смотрела.

Мне так грустно, так безумно грустно в последние дни. Отчего же? Не беспрерывно, каждый раз я выкарабкиваюсь, а потом снова впадаю в эту глубокую печаль.

Никогда еще не встречала человека, располагающего таким большим запасом любви, сил и непоколебимой уверенности в себе, как S. В ту пятницу, в тот знаменательный вечер он сказал примерно следующее: «Если бы я всю свою любовь и силы выпустил на одного человека, я бы погубил его». Временами мне так и кажется, будто я погребена под ним. Не знаю. Иногда думаю, что должна была бы, дабы избавиться от него, бежать на другой конец земли, и в то же время знаю, что прийти к согласию я должна здесь, на этом месте, подле него и с ним. Часто он вообще не создает никаких проблем. Тогда все замечательно. Однако бывает, как сейчас, чувствую, что он делает меня больной. Откуда это берется? Он ведь не загадочный и не сложный. Может, дело в том, что, обладая огромными запасами любви, он распределяет ее между бесчисленным множеством людей, в то время как я бы хотела всю ее только для себя? Действительно, иногда бывают моменты, когда я этого желаю, когда мне хочется, чтобы его любовь сконцентрировалась исключительно на мне одной. Но не слишком ли это физическая мысль? Не слишком ли личная? Я вправду не знаю, как мне с ним быть.

Хочу попытаться хоть что-то удержать от того вечера в пятницу. Тогда у меня было ощущение, что я проникла внутрь мужской загадки или, лучше сказать, незагадки. В тот вечер показалось, будто он дал мне ключ к тайне своей личности. И несколько дней потом мерещилось, что этот ключ, глубоко запрятанный в моем сердце, я больше никогда не потеряю. Тогда почему же сейчас мне так невыразимо грустно? Почему с ним потерян всякий контакт и хочется от него избавиться? Сейчас мне кажется, что он слишком велик для меня. Как же это было в пятницу? Когда он, широкий, нежный, с какой-то небывалой чувственностью и одновременно с такой человеческой добротой

сидел напротив меня на маленьком стуле, мне периодически представлялась личная жизнь римского императора. Почему, не знаю. В его стати было нечто сладострастное. Но в то же время вокруг него витало бесконечное тепло и даже слишком большая для одного человека сердечность. Почему при этом мне представлялся римлянин времен упадка? Правда, не знаю.

Наверное, боли в желудке, подавленность, сжатое внутри гнетущее чувство — плата за мое алчное желание знать о жизни все, желание во все проникнуть. Иногда это слишком. В тесте Тако Койпера обо мне сказано, что я та, кто, требуя от жизни все, все в ней и перерабатывает. Значит, переработаю и это. Неизбежны также внутренние заторы, но их нужно свести к минимуму, иначе я не смогу жить дальше. Когда вчера в невыразимой тоске, со свинцовой тяжестью внутри, слыша над головой гул самолетов, я ехала на велосипеде домой, от неожиданной мысли, что одна бомба может положить конец моей жизни, — сильное чувство освобождения. В последнее время это случается все чаще. Мне кажется, легче не жить, чем жить дальше.

Четверг [25 сентября 1941], 9 часов утра. Да, мы — безрассудные, дурацкие, нелогичные женщины, мы ищем рай и абсолют. И тем не менее мой отлично функционирующий разум знает, что нет ничего абсолютного, что все относительно, бесконечно разнообразно и находится в вечном движении; и именно поэтому все вокруг так захватывающе, так соблазнительно и так невозможно мучительно. Мы, женщины, хотим увековечить себя в мужчине. Это значит, я хочу, чтобы он мне сказал: «Любимая, ты единственная, и я буду тебя любить вечно». Обман! Но пока он этого не скажет, все остальное не имеет смысла и безразлично мне. Это и есть безумие: ведь сама я совсем не хочу его как единственного и навсегда, но требую этого от него. Не потому ли я жду от другого абсолютной любви, что сама на нее не способна? И потом, я всегда претендую на равную интенсивность, в то время как очень хорошо по себе знаю, что так не бывает. Но стоит мне заметить у другого временное ослабление чувств — тут же пускаюсь в бегство. К этому, естественно, прибавляется еще и чувство неполноценности, что-то вроде: если я не могу его увлечь и воспламенить, то уж лучше совсем ничего. Чертовски нелогично, от этого надо избавиться. Мне было бы не по себе, если бы кто-то постоянно был для меня «огнем и пламенем». Меня бы это угнетало, надоедало бы, отнимало чувство свободы. О, Этти, Этти.

Вчера вечером, кроме прочего, он сказал: «Думаю, я для тебя

— *первая ступень* к действительно большой любви». Это так странно, я ведь сама для многих была *«первой ступенью»*.

И хотя, пожалуй, так и должно быть, мне как-то очень больно, и я не могу примириться с его словами. Кажется, даже знаю почему. На мой взгляд, он должен разрываться от ревности при мысли, что в моей жизни может появиться другая большая любовь. Это снова требование абсолюта. Он должен вечно любить меня единственную. Но «вечно» и «единственная» — один из видов одержимости. Последние дни я очень чувственна. Вчера вечером была так сильно этим охвачена, что когда в 9 часов он позвонил: *«Есть ли настроение прийти?»*, пошла переполненная радостью, чувственностью и преданностью к нему. Но ты только придумываешь, что для тебя встреча с ним связана исключительно с чувственностью. Мы же не бросились сразу в объятия. Сначала увлеченно обсуждали в высшей степени интересные и противоречивые темы сегодняшнего дня. Я буквально смотрела ему в рот, и каждый раз вновь поражалась его четким, ясным формулировкам и чувствовала, что невероятно многому у него учусь. Собственно говоря, духовное общение с ним приносит мне гораздо больше удовлетворения, чем физическое. Быть может, я склонна к переоценке физического, тоже основываясь на заблуждении, что это так женственно.

Да, странно. Я и сейчас чувствую, что хотела бы спрятаться в его объятиях и быть всего лишь женщиной или даже еще меньше — просто кусочком обласканной плоти. Ужасно переоцениваю чувственность. Прежде всего потому, что каждый раз это дело лишь нескольких дней. Но эти небольшие приступы, ввиду того, что я проецирую их на всю жизнь, затеняют все остальное. Мне хочется, чтобы такие изречения, как «ты вечная и единственная», освящали всю мою жизнь. Наверное, я выражаюсь невнятно, но главное в том, что, когда я пишу, — так или иначе от этого избавляюсь. Моя переоценка чувственности объясняется желанием, чтобы та капля физического тепла, которую два человека время от времени ищут друг у друга, благодаря таким высокопарным словам, как «я буду вечно тебя любить», высоко поднималась над своим повседневным значением. Хорошо бы позволять вещам быть такими, какие они есть, и не стремиться взвинчивать их на невозможную высоту. Тогда-то в них и проявится истинная ценность. Если исходить из чего-то абсолютного, чего, собственно, в природе нет и чего к тому же совсем не хочешь, — не прийти к подлинным пропорциям жизни.

11 часов вечера. День был долгим, много чего произошло, и

сейчас я страшно довольная сижу за своим письменным столом. Голова всей тяжестью опирается на левую руку, во мне благотворный покой и глубокая погруженность в себя. Сеанс хиромантии в комнате Тидэ вполне удался. Раньше такое скопище женщин мне показалось бы ужасным. А было очень уютно, увлекательно, живо. Вип принес груши, Гера тортик, а я свою глубокомысленную психологию. В заключение Тидэ, несмотря на то, что она в упряжке с пяти утра, без устали рассказывала о своей работе.

О главном все-таки я не могу сейчас писать, к тому же в комнате слишком много разговоров. Ханс, Бернард и папа Хан складывают пазлы. Прежде я бы не смогла, сидя в углу, писать или читать, если бы в комнате был еще кто-то, это сбивало бы меня с толку. Но сейчас я так глубоко ушла в себя, что, находись я даже посреди толпы, никто не смог бы мне помешать. Была бы «послушной девочкой», пошла бы сейчас спать в свою маленькую комнату, в девичью постель, но стремление к общению и дружелюбная привычка удерживают меня в этом «просторном приюте любви», как я его однажды патетически назвала. Ну да. Я приняла три таблетки аспирина и, наверное, поэтому так приятно оглушена. Завтра меня снова ждет огромная программа: буду очень занята этим несчастным будущим шизофреником с его фантастическим *«имаго отца»*, потом надо составить письмо для S., потом приготовить урок русского и позвонить Алейде Схот[23]. Но прежде всего я должна хорошо выспаться. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Господи, ты все-таки немного со мной.

Суббота [4 октября 1941], вечер. Сюарес[24] о Стендале:

> «У него бывают сильные приступы тоски, которые он показывает своим друзьям и прячет в своих книгах. Его живой ум служит маской для прикрытия страстей. Он острословит, чтобы его с его большими чувствами оставили в покое».

Вот твоя болезнь: ты хочешь заключить жизнь в свои собственные формулы. Вместо того чтобы дать жизни объять тебя, ты все ее проявления хочешь объять своим духом. Как же это? Уйти головой в небо — еще куда ни шло, но наоборот, поместить небо в своей голове — ну никак. Каждый раз ты хочешь заново создать мир вместо того, чтобы наслаждаться уже существующим. В этом скрывается своего рода тирания.

6 октября [1941], понедельник, 9 часов утра. Вчера

посреди дня во мне зависла одна фраза. Я спросила Хенни: «Тидэ, ты никогда не хотела выйти замуж?» На что она ответила: «Бог еще не послал мне мужа». Захоти я эти слова применить к себе, они бы значили следующее: если я хочу жить в соответствии с моими собственными, врожденными качествами, то, вероятнее всего, мне не следует выходить замуж. В любом случае не надо над этим ломать себе голову. Если я искренне прислушаюсь к моему внутреннему голосу, то в нужный момент пойму, послан мне Богом человек или нет. Но я не должна об этом все время думать. И также не должна идти на уступки, ввязываясь в брак на основании каких-то сумасбродных теорий. Нужно доверять себе и знать, что я иду определенным путем, и мне не стоит думать: а не буду ли я, если сейчас не заимею мужа, впоследствии очень одинокой? Смогу ли сама заработать на хлеб? Не останусь ли старой девой? Что скажет мое окружение, не буду ли я вызывать жалость, потому что все еще без мужа?

Вчера вечером в постели я спросила Хана: «Как ты думаешь, такой человек, как я, имеет право на замужество? Я вообще настоящая женщина?» Для меня сексуальность не так существенна, хоть я и произвожу иногда противоположное впечатление. Не обман ли это, привлекать мужчин, а потом не оправдывать их ожиданий? Природная женственность, во всяком случае сексуальная, мне не свойственна. Я больше не «самка», духотворные процессы разными способами ослабляют во мне чисто физическое, и иногда от этого возникает ощущение своей неполноценности. А еще мне кажется, что я стыжусь именно этой духовности в себе. Во мне заложены глубоко человеческие чувства, врожденные любовь и сострадание к людям, ко всем людям. Не думаю, что я гожусь для одного-единственного мужчины. Иногда это видится мне даже чем-то детским — любить только одного человека. И я никогда не могла бы сохранять верность лишь одному мужчине. Не из-за других мужчин, а потому, что сама состою из такого большого количества человеческих существ. Мне 27, и мне кажется, я достаточно много любила и была любима. Чувствую себя очень старой. Это не случайно, что мужчина, с которым в течение пяти лет я веду почти супружескую жизнь, — в том возрасте, в котором невозможно строить общее будущее, а мой лучший друг собирается жениться на юной девушке, живущей в Лондоне. Не думаю, что это для меня: единственный мужчина и единственная любовь. Но во мне много чувственности и большая потребность в любовной ласке, в нежности. И этого было немало. Да, не получается записать так, как чувствовала это ночью и утром.

«Бог не послал мне мужа».

Моя интуиция еще ни разу в жизни не позволила мне сказать мужчине «да», и мой внутренний голос должен быть для меня проводником во всем, но прежде всего в этом. Я хочу сказать, что во мне должен присутствовать определенный покой, как и точная, опирающаяся на мой внутренний голос уверенность в том, что я иду своей собственной дорогой. И замуж не выходить не из тех соображений, что вокруг так мало счастливых браков, это тоже было бы разновидностью конфронтации, страха и неуверенности. Но отказаться от замужества, поскольку знаешь, что это не твой путь. И потом не утешать себя язвительным замечанием, которое то и дело слышишь от незамужних девиц: «с меня хватит того, что я вижу у других». Я верю в счастливый брак и была бы, наверное, в состоянии такой создать. Но пусть будет то, что будет, не выстраивай никаких теорий по этому поводу, не спрашивай себя о том, что было бы для тебя лучше, не пытайся делать никаких расчетов. Если «Бог пошлет» — хорошо, нет — твоя дорога будет другой. Но не огорчайся потом, задним числом, и не говори: я должна была бы тогда поступить так или этак. Не надо говорить ничего такого, и поэтому вслушивайся сейчас в свою природную сущность и не давай смутить себя тем, что вокруг тебя говорят люди. А теперь давай работать.

Понедельник, утро, 20 октября [1941]. Они ели медленно, досыта и все плотнее прирастали к земной тверди. Это после завтрака, состоявшего из бутерброда с помидорами, яблочного варенья и трех чашек чая с настоящим сахаром. Во мне есть склонность к аскетизму: подвергать себя голоду и жажде, холоду и жаре. Не знаю, каково происхождение этого романтизма, но как только становится немного прохладнее, больше всего хочется забраться в постель и не вылезать из нее.

Вчера вечером я сказала S., что для меня опасны все эти книги, во всяком случае, иногда опасны. Что они делают меня ленивой, пассивной, что мне хочется только еще и еще читать. Из того, что он ответил, вспоминается лишь одно слово: *«вырождающийся»*.

Порой мне приходится потратить столько сил, чтобы начать день, построить его основу: встать, умыться, сделать зарядку, натянуть чулки без дырок, накрыть стол; одним словом, *«сориентироваться»* в повседневной жизни, и чтобы еще остались силы для другого. Когда я, как любой житель города, встаю

вовремя, то так собой горжусь, будто совершила что-то необыкновенное. И все-таки внешняя дисциплина, пока нет внутренней, для меня очень важна. Если я утром дам себе поспать на час дольше, это не значит, что я высплюсь, а значит, что я попросту не справляюсь с жизнью.

Во мне живет небольшая мелодия, которая иногда так и просит моих собственных слов. Но скованность, неуверенность в себе, лень и не знаю что еще препятствуют этому. И так, подавленная, она бродит во мне и временами прямо изводит. А потом меня снова заполняет тихая, печальная музыка.

Как мне иногда хочется вместе со всем, что во мне запрятано, убежать в слова, найти в них пристанище для всего-всего. Но нет слов, которые были бы готовы меня приютить. Да, собственно говоря, все дело именно в этом. Я ищу для себя приют, но тот дом, в котором я хочу укрыться, должен быть камень за камнем построен мною. Дом и убежище для себя ищет каждый человек, а я всегда ищу несколько слов.

Бывает, чувствую, что каждое сказанное вслух слово, каждый совершенный жест лишь усиливает и без того большое разногласие. Тогда мне хочется погрузиться в глубокое молчание и наложить печать молчания на всех остальных людей. Да, любое слово на этой слишком беспокойной земле может еще больше увеличить разногласия.

Делай то, что может рука твоя делать[25], и ни о чем не думай заранее. Итак, мы застелим сейчас постель, отнесем чашки на кухню, а потом будет видно. Подсолнухи Тидэ получит еще сегодня. Надо еще закончить работу над «Горем от ума», постараться втолковать этой девочке правила русского произношения и закончить обработку анализа этого шизофренического случая, выходящего за пределы моей психологии и понимания. Погружаясь в каждую минуту, делай, что делают твои руки и душа, и не распространяй свои мысли, страхи и заботы на последующие часы. Придется снова заняться твоим воспитанием.

21 октября [1941], после обеда. Рождение настоящей внутренней самостоятельности — медленный и мучительный процесс. Все лучше и лучше понимать, что для тебя не существует никакой помощи, поддержки, никакого убежища у других. Что и другие точно так же неуверенны, слабы и беспомощны, как ты. Что ты должна становиться все сильнее. Не думаю, что поиск

убежища у других — твой выход. Ты всегда будешь возвращаться к самой себе. Другого не дано. Остальное — обман. Но как тяжело каждый раз осознавать это заново. Особенно — будучи женщиной. В тебе все-таки всегда существует стремление раствориться в другом, в единственном. Но и это самообман, хоть и красивый. Две жизни не могут совпасть в своем течении. По крайней мере для меня. Разве что в отдельные мгновения. Но оправдывают ли такие мгновения всю совместную жизнь? Могут ли они удержать эту общую жизнь? Тем не менее это сильное чувство. И иногда счастливое. Одна. Господи. Тяжело. Ибо мир остается таким негостеприимным.

Как сильно бьется сердце. Но не для одного человека, для всех людей. Мне кажется, у меня богатое сердце. Раньше я всегда представляла, что отдам его одному человеку. Но нет. И когда в 27 лет приходишь к подобной суровой «правде», тебя часто охватывает отчаянье, одиночество, чувство *страха*, но с другой стороны — чувство гордости и независимости. Я доверена самой себе и должна прийти к согласию с собой. Единственный критерий, которым ты обладаешь, — ты сама. Снова повторяю себе это. И единственная твоя ответственность в этой жизни это ответственность за себя. Но с этим ты должна справиться полностью. А сейчас надо позвонить S.

Среда [22 октября 1941], 8 часов утра. О Господи, дай мне по утрам немного меньше мыслей и немного больше холодной воды и гимнастики.

Жизнь невозможно заключить в несколько формул. В итоге именно это тебя постоянно занимает и ты много над этим думаешь. А не получается, потому что жизнь бесконечно разнообразна, ее не поймать, не упростить. Но сама ты могла бы стать проще…

Четверг [23 октября 1941], утро. Какая же ты дура! Прекрати ломать себе голову! Не пытайся одним или несколькими яркими словами обрисовать все… Слова никогда не смогут охватить тебя целиком. Божий мир и небеса такие большие. Разве недостаточно большие?

Хотеть назад в темноту, в материнское лоно, в общую массу — или стать самостоятельной, найти собственную форму, победить хаос. Я разрываюсь между этими двумя вещами.

24 октября. Сегодня утром — Леви. Мы не должны заражать друг друга своими плохими настроениями. А вечером — новые постановления, касающиеся евреев. По этому случаю я позволила

себе полчаса подавленности и беспокойства. Раньше я бы бросила работу и утешилась чтением какого-нибудь романа. Сейчас надо заняться Мишиным анализом. Это очень важно, что он так хорошо отреагировал по телефону. Не стоит питать большие надежды, но он заслуживает помощи. Пока что надо использовать приоткрывшуюся к нему дверку. Может, в дальнейшем это поможет ему. Не нужно ждать великих результатов, надо верить в малое. Вот уже два дня, как, не углубляясь в собственные настроения, беспрерывно работаю. Хорошая девочка, молодец!

«Я так привязана к этой жизни».

Что ты понимаешь под «этой жизнью»? Удобную жизнь, которую ты ведешь в данное время? Действительно ли ты привязана к голой, совершенно голой жизни, в том виде, в каком она тебе представится, выяснится лишь с течением лет. Ты располагаешь достаточными силами. И в тебе есть что-то такое: «Смеясь ли прожить жизнь или плача, это всего лишь жизнь». Но это не все. Это замешано на западном динамизме, который временами я очень сильно чувствую: у тебя прекрасное здоровье, ты тянешься к самой себе, к своей основе. А теперь — работай.

После одного разговора с Яапом[26]:

Время от времени мы бросаем друг другу частички самих себя, но я не думаю, что при этом мы понимаем друг друга.

Четверг [30 октября 1941], утро. По всем направлениям страх жизни. Совершенная подавленность. Отсутствие уверенности в себе. Отвращение. Страх.

11 ноября [1941], утро. Кажется, будто прошли долгие недели, наполненные ужасными переживаниями, а я снова стою перед той же проблемой — перед необходимостью разорвать на мелкие кусочки этот самообман или фантазию, назовите как угодно, это стремление всю жизнь обладать одним человеком. Ты должна свой абсолютизм стереть в пыль. И не думай, что от этого ты обеднеешь, наоборот, — станешь богаче, многограннее. Надо принять свойственные людским отношениям спады и подъемы и рассматривать их не как повод для печали, а как нечто положительное. Не хотеть целиком владеть другим еще не означает отказаться от него. Дать другому полную свободу, и внутреннюю тоже, отнюдь не значит отречься. Постепенно начинаю понимать свою страсть в отношениях с Максом[27]. Меня все больше разжигает отчаянье, возникающее оттого, что в конце концов всегда сталкиваешься с недосягаемостью другого. Пытаешься его достичь не тем, слишком абсолютным способом. А абсолюта нет. Очень хорошо знаю, что жизнь и человеческие отношения бесконечно многообразны и что абсолюту или объективности ни в чем и никогда не добраться до истинного. Но это знание должно из головы перейти в кровь, во всю тебя, это тоже надо прожить. Все время возвращаюсь к тому, что на протяжении всей жизни нужно тренироваться принимать ее не только в соответствии со своим мировоззрением, но и в согласии со своим чувством. В этом, быть может, и заключается единственная возможность обрести гармонию.

21 ноября [1941]. Интересно, что последнее время я полна творческого вдохновения и хотела бы страницу за страницей писать рассказ о девочке, которая не может стать на колени или что-то в этом роде, о занимающей меня маленькой Леви и о многом-многом другом. Но, записывая это, я, как ужаленная, подпрыгиваю на синем покрывале от вдруг возникшего вопроса, да, от этого вопроса. В то время как я полна этических проблем, размышлений о правде и Боге, неожиданно появляется «проблема еды». Может, это все-таки сто́ит проанализировать. Периодически, хотя и не так часто, как раньше, я порчу себе желудок просто тем, что слишком много ем. От несдержанности. Знаю, что должна быть осторожна, но, несмотря на это, на меня вдруг нападает что-то вроде жадности, против которой бессильны

любые аргументы. Я знаю, что, позволив себе лишний кусок, буду сильно раскаиваться за это небольшое удовольствие, однако ничто не в силах удержать меня. И я вдруг понимаю, что из этой проблемы можно что-то извлечь. В конце концов, это символично. Наверняка подобная жадность существует и в моей духовной жизни. Желание поглотить неумеренно много иногда заканчивается тяжелыми желудочными проблемами. Где-то здесь находится причина всего. Может быть, это связано с моей любимой мамой. Она всегда говорит о еде, для нее не существует ничего другого. «Иди поешь что-нибудь. Ты мало поела. Ты так похудела». Вспоминаю, как несколько лет назад я наблюдала за мамой во время еды на одном мероприятии для домохозяек. Я сидела на балконе маленького кинозала в Девентере. Мама находилась в центре длинного стола среди других женщин. На ней было голубое кружевное платье, и она ела. Она была полностью этим поглощена, ела жадно и увлеченно. Когда, сидя на балконе, я вдруг увидела ее, то испытала ужасное раздражение. Я не могла себе это объяснить, но одновременно с этим отталкивающим чувством мне было ее безумно жалко.

В этой жадности было что-то такое… Словно она боялась каким-то образом остаться обойденной. Это было ужасающе жалким и по-животному отталкивающим. Так мне казалось. На самом же деле это была обычная домохозяйка в кружевном голубом платье, которая просто ела суп. Но если бы я могла понять все, что во мне тогда происходило, то многое поняла бы в моей маме. Этот страх что-то недополучить в жизни! Из-за него потом и приходит истинная обойденность. Никак не подобраться к самой сути.

С психологической точки зрения это можно было бы (послушайте полного профана) сформулировать так: моя конфронтация с мамой все еще существует, и вместе с тем, гнушаясь в ней некоторыми вещами, я делаю их точно так же, как она. В конечном счете я не принадлежу к людям, которые придают еде большое значение, несмотря на то, что она имеет и свои приятные стороны. Но не об этом речь. Что-то стоит за тем, что я себе сознательно, добровольно или, лучше сказать, вопреки своему сознанию каждый раз порчу желудок. Конечно, именно с этим связано и мое стремление к аскетизму, к монашеской жизни с ржаным хлебом, чистой водой и фруктами.

Можно иметь жизненный голод. Но, будучи ненасытным, — промахнешься, не попадешь в цель. Ну вот, ты все еще продолжаешь говорить на глубокомысленные темы.

Но интересно, что в то время, когда во мне бродит все еще не проявившаяся внешне депрессия, я вдруг чувствую, что мне необходимо посвятить несколько слов своему животу и всему, что за этим стоит.

Виновны в этом, конечно, недавние разговоры с S. о преимуществах и недостатках психоанализа. Поводом к этому послужили дебаты с Мюнстербергером[28]. S. упрекал психоаналитиков в недостаточном человеколюбии, в их слишком деловом интересе к человеку.

«К лечению человека с больной душой нельзя подходить без любви». Однако я могла бы себе представить, что к такой проблеме можно подойти чисто по-деловому. S. также находит скверным тот факт, что на протяжении многих лет на психоанализ уходит всего один час в день и что человек из-за этого становится неприспособленным к жизни в обществе. Я описываю, конечно, огульно и грубо. Нет времени и, собственно говоря, нет желания копаться в этом. Это такая трудная область, а я такой дилетант. Тем не менее эти вещи не отпускают меня, и когда-нибудь я должна буду в них разобраться. Ой-ой-ой, как же много тернистых троп предстоит мне пройти! Будучи своим единственным критерием, я обязана во всем разобраться, найти свои собственные формулировки и маленькие истины. Иногда проклинаю эти побуждающие меня бог знает на что творческие силы. Но бывает, что я за них исполнена большой благодарности, почти экстаза. И эти высшие моменты благодарности за такую полную жизнь, за возможность постепенного, хоть и на свой лад, постижения вещей каждый раз, становясь мне опорой, делают мою жизнь драгоценной. Но сейчас, кажется, все снова пошло вкривь и вкось. Наверное, это связано с тем, что Миша опять в городе. В точности я этого не знаю. *Ах, Господи, так много всего*.

Суббота [22 ноября 1941] , утро. Надеюсь, но и боюсь этого, что когда-нибудь в моей жизни наступит время, когда я полностью буду наедине с собой и листом бумаги. И я делаю не что иное, как пишу. Пока не могу на это решиться. Не знаю, почему так. В среду я была на концерте с S. Когда вижу вместе сразу много людей, мне хочется писать роман. В антракте мне нужна была бумага, чтобы что-то записать, сама не знаю что, развить некоторые мысли. Вместо этого мне пришлось записывать то, что S. продиктовал мне об одном пациенте. Само по себе увлекательно, даже любопытно. Но мне снова пришлось отодвинуть свои интересы в сторону. Надо бы разобраться в себе. Постоянная потребность писать и боязнь взяться за это. Вероятно, я слишком многое отодвигаю в сторону. Иногда думаю, что

принадлежу к сильным натурам, но на первый план всегда выходит вечное дружелюбие, участие, часто идущая за мой собственный счет доброта. Теоретически человек должен держаться в обществе так, чтобы другие не страдали от его настроений. Но то, о чем я говорю, с настроением не имеет ничего общего. Просто, сдерживая себя, я становлюсь асоциальной по отношению к другим людям, потому что потом в течение нескольких дней вообще ни с кем не могу общаться.

Во мне какая-то тоска, нежность и немного мудрости, ищущей формы. Порой в голове проносятся обрывки диалогов. Образы и фигуры. Настроения. Внезапный прорыв к чему-то, что должно стать моей собственной правдой. Человеколюбие, за которое нужно бороться. Не в политике, не в партии, а в самой себе. Но ложный стыд еще не дает мне выразить это. И Бог. Девочка, которая не могла стать на колени и которая училась этому на жесткой кокосовой подстилке в неубранной ванной комнате.

Но эти вещи еще более интимны, чем все, что касается сексуальности. Мне бы хотелось этот процесс, как девочка училась коленопреклонению, изобразить со всеми нюансами.

Вздор. Да что там говорить, у меня достаточно времени, чтобы писать. Возможно, даже больше, чем у других. Дело во внутренней неуверенности. Но почему? Потому что ты считаешь, что должна высказывать гениальные вещи? Потому что неспособна выделить главное? К этому приходят постепенно. Это и есть *«быть верной самой себе»*. Да, S. всегда прав. Я так люблю его, и одновременно во мне все сопротивляется. И это сопротивление связано с такими глубокими вещами, к которым у меня пока вообще нет никакого доступа.

Воскресенье [23 ноября 1941], 10 часов утра. Интересна взаимосвязь между некоторыми моими настроениями и месячными. Вчера вечером — явно «приподнятое» настроение. А ночью — как будто внезапно изменилось все мое кровообращение. Совершенно иное ощущение жизни. Ты не знаешь, что происходит, и вдруг понимаешь: это предстоящие месячные. Подчас я думала: для чего это бессмысленное, ежемесячно создающее столько трудностей представление, если я не хочу иметь детей. И однажды в поисках спокойной жизни опрометчиво подумала, не избавиться ли мне от матки. Но самого себя нужно принимать таким, каким ты создан, и не говорить, что все это только в тягость. Взаимодействие души и тела — таинство. Странно мечтательное, словно просветленное настроение вчерашнего вечера и мое состояние сегодняшним

утром — следствия изменений в моем теле.

Этой ночью я ответила недавно всплывшему «комплексу еды» сновидением. Поначалу сон показался мне очень отчетливым, но когда я захотела его записать, он не поддался. За столом люди, среди них я и S. Он сидит во главе стола и говорит что-то вроде: «Почему ты не навещаешь других людей?» Я: «Из-за всех этих трудностей с едой». И тогда он взглянул на меня с таким свойственным ему одному выражением лица, что для его описания мне понадобится вся моя жизнь. Оно появляется, когда он злится, и, на мой взгляд, это одно из самых сильных выражений его лица. Я прочла в нем что-то типа: «Вот ты какая. Неужели еда так важна для тебя?» И я почувствовала: теперь он видит меня насквозь, теперь он видит весь мой материализм. Нет, не получилось хорошо пересказать. Но очень сильное ощущение того, что он раскусил меня и теперь знает, какая я на самом деле. И от этого — ужас.

Последствием *«просветленной»* дали этой ночи были покой и вновь обретенное для всего пространство. А также немного влюбленности и еще большей расположенности к Хану. И никакой враждебности по отношению к S. и к работе. Я все равно пойду своей собственной дорогой. А этот небольшой окольный путь — совсем нестрашно. К чему торопиться? «Ее жизнь крепла и мало-помалу осуществлялась». Иногда вот такое чувство. Было бы только это правдой. Весь этот просторный, ясный день принадлежит мне, и я медленно, без скованности скольжу по нему. Благодарность, очень осознанная, сильная благодарность за эту большую, светлую комнату с широким диваном, за письменный стол с книгами, за тихого, старого и все же очень молодого человека. А на заднем плане — друг с тяжелым добрым ртом, у которого нет от меня тайн и который порой может неожиданно быть таким таинственным. Но более всего — благодарность за ясность, покой и за веру в себя. Словно я, неожиданно оказавшись в дремучем лесу, легла на спину, чтобы отдохнуть и посмотреть в просторное небо. Через час может снова все поменяться, знаю. Прежде всего из-за этого неустойчивого состояния с бунтующим животом.

Вторник [25 ноября 1941], 9.30 утра. Во мне что-то происходит, и я не знаю, это только настроение или нечто более существенное. Будто бы я одним рывком вернулась к своей собственной основе. И при этом стала немного самостоятельней и независимей. Вчера вечером ехала на велосипеде по холодной,

темной улице Лересса. Хотелось бы сейчас повторить то, что бормотала тогда: Господи, возьми меня в свои руки, и я послушно, не упираясь, пойду за тобой. Я не буду пытаться уклониться от того, что должно обрушиться на меня в этой жизни, я изо всех сил буду над этим работать. Ты только давай мне изредка короткие мгновения покоя. Я больше не буду с наивностью думать, что воцарившийся во мне мир — навсегда. Я приму и беспокойство, и борьбу, которые потом обязательно вернутся. Мне хорошо в тепле и в безопасности, но я, не сопротивляясь, пойду в холод, если только меня поведет твоя рука. Я повсюду пойду с тобой и постараюсь не бояться. Где бы я ни была, я постараюсь излучать любовь и подлинное человеколюбие, которое во мне есть. Не стоит хвалиться словом «человеколюбие». Никогда не знаешь, имеешь ли ты его на самом деле. Не хочу быть ничем особенным, хочу лишь попытаться стать тем, что во мне есть и ищет своего полного развития. Иногда мне кажется, что я стремлюсь к монастырскому уединению. Но нет, я должна все-таки вести свои поиски здесь, в этом мире, среди этих людей.

И делать я это буду вопреки усталости и отвращению, которые периодически охватывают меня. Обещаю прожить эту жизнь во всей ее полноте, идти все дальше и дальше. Мне иногда кажется, что моя жизнь только начинается, что трудности еще впереди, хотя в то же самое время кажется, что я уже столько пережила. Хочу учиться, хочу попытаться все понять, объяснить. Правда, все, что мне предстоит, что на меня свалится, наверное, собьет с пути, но пусть так будет. Каждый раз благодаря этому я, может, буду становиться более сильной и уверенной. Так будет до тех пор, пока ничто уже не сможет сбить меня с толку. И тогда во мне появится такое внутреннее равновесие, при котором все дороги останутся открытыми.

Такое ощущение, будто меня изо дня в день бросают в большой плавильный котел и что я из него все же каждый раз выкарабкиваюсь.

Бывают моменты, когда я думаю, что моя жизнь — полный провал, что в нее вкралась ошибка. Но происходит это только потому, что жизнь, которую ты ведешь, если ее сравнивать с заранее сложившимися о ней представлениями, всегда будет казаться ошибочной.

Кажется, моя позиция по отношению к S. внезапно изменилась. Будто я одним махом оторвалась от него, но, может, это произошло только в моем воображении. Как будто где-то в глубине души мне вдруг стало ясно, что моя жизнь должна

протекать совершенно независимо от его жизни. Вспоминаю, когда несколько недель назад речь зашла о том, что все евреи будут отправлены в концентрационный лагерь в Польшу, он сказал мне: *«Тогда мы поженимся, останемся вместе и по крайней мере сможем делать что-то доброе»*. И хотя я знала, как должна понимать его слова, они несколько дней наполняли меня радостью, теплом, чувством родства. Но сейчас это исчезло. Не знаю, что это, но чувствую, будто я вдруг совершенно освободилась от него и иду дальше своей собственной дорогой. Несомненно, я отдала ему много сил. Вчера вечером, на холодном велосипеде, я неожиданно для себя пересмотрела в ретроспективе, с какой интенсивностью, с какой отдачей в течение полугода я принимала этого человека вместе с его работой и его жизнью. И вот это произошло. Он стал частью меня. И с этой новой частью во мне я иду дальше, но одна. Внешне, естественно, ничего не изменилось. Я продолжаю быть его секретарем, интересуюсь его работой, но внутренне я стала свободней.

Или всё это только настроение? Поводом к которому, вероятно, послужил мой очень самостоятельный жест, когда по собственной инициативе, не спросив у него, я направилась к телефону, позвонила и отказала той даме. Черт возьми, это не мой путь! Когда внезапно в тебе появляется что-то, что сильнее тебя самого и что заставляет тебя совершать «поступки» (вот горюшко!) и принимать меры, для тебя ***обязательные***, к которым чувствуешь призвание, — тогда ты тоже вдруг становишься сильнее. И внезапно с большой уверенностью можешь сказать: это не мой путь.

Связь литературы с жизнью. Найти свой путь в этой области.

Пятница [28 ноября 1941], 8.45 утра. Вчера вечером почувствовала, что за все мои скверные, возмутительные мысли последних дней по отношению к нему я должна была бы у него попросить прощения. Между тем я знаю, бывают дни, когда чувствуешь отвращение к своим близким и впоследствии это приводит к отвращению к самому себе. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*. Я ведь знаю, что дело всегда во мне, а не в нем. У нас обоих теперь совершенно разные жизненные ритмы, и нужно каждому дать свободу, дать возможность быть таким, какой он есть. Если хотеть, чтобы другой человек соответствовал твоим представлениям о нем, — всегда будешь наталкиваться на стену и постоянно разочаровываться; не из-за него, а из-за тех

требований, которые ты ему предъявляешь. Это по сути очень недемократично, хотя чисто по-человечески. Наш путь к истинной свободе, наверное, прокладывается через психологию, но мы часто упускаем из виду, что нужно не только внутренне освободиться от другого человека, но и ему дать свободу, не создавая в своем воображении о нем никаких определенных представлений. Для воображения останется еще достаточно много областей, не занятых теми, кого любишь.

Вчера днем ехала к нему на велосипеде в плохом настроении, с нежеланием что-либо говорить, было как-то не по себе. И вдруг на углу Аполлолан и Микеланджелострат почувствовала острую необходимость записать что-то в свой блокнот и, стоя там на холоде, быстро набросала, что в литературе, как ни странно, так много трупов. Впрочем, большей частью это легкомысленные покойники. Короче говоря, все это звучало бессмысленно, как это часто бывает, когда думаешь, что бог знает какие большие мысли зародились в твоем мозгу, а потом на перекрестке двух улиц, на холоде, в твоем блокноте появляется лишь бессвязный лепет. Я вошла в маленькую, знакомую комнату S., в которой он казался почти гигантом. Гера тоже была там. Мы, учитывая его глуховатость, немного пошушукались, и меня снова охватило чувство уюта. Но мне все еще было как-то не по себе и, к удивлению S. и смущению Геры, которые спрашивали, что же опять случилось, я начала бросать через комнату пальто, шапку, перчатки, сумку, блокнот. Горшок с цветком на подоконнике чудом уцелел. Потом я сказала, что у меня нет настроения работать, что я бастую. Этот взрыв во мне явно пошел Гере на пользу.

А все потому, что ей самой часто хотелось бы так поступить, но она по отношению к нему на это не осмеливалась. «Браво!» — сказала она. Наверное, мое строптивое неистовство отразило также и ее время от времени возникающий аналогичный протест по отношению к нему. Вероятно, нечто такое периодически чувствуешь по отношению к более сильным личностям. Человек заранее даже пяти минут не должен думать о том, как он сейчас будет себя вести, так или эдак, и скажет то или это. Я же обдумала заранее все, что хотела ему сказать, все «принципиальные вещи». Хотела свести счеты с хиромантией и т. д. Очень резко и обоснованно. А по дороге на меня нашло такое настроение, при котором говорить вообще не хочется.

Как только Гера ушла, между нами произошло молниеносное сражение. Повалив на диван, я его чуть не убила, а после этого мы собрались серьезно поработать. Но вместо этого он неожиданно сел в углу комнаты в большое, красиво перетянутое

Адри кресло, а я привычным образом прижалась к его ногам. И мы пустились в страстные дебаты о еврейском вопросе. Слушая его долгие рассуждения, я снова будто пила из живительного источника. И опять четко, без искажений, вызванных моим раздражением, я увидела, как день ото дня плодотворно развивается его проходящая передо мной жизнь. В последнее время отдельные фразы из Библии приобретают для меня явно новое, наполненное содержанием и собственными переживаниями значение: Бог создал человека по своему подобию. Возлюби ближнего своего, как самого себя. И т. д.

Пришло время пересмотреть свое отношение к отцу, пересмотреть с любовью.

В субботу вечером Миша сообщил мне о его приезде. Первая реакция: это ужасно. Моя свобода под угрозой. Как это обременительно. Что мне с ним делать? Вместо: как мило, что хороший человек может на несколько дней покинуть скучный провинциальный город, удрать от своей раздражительной жены. Как попытаться своими небольшими силами и средствами, насколько это возможно, сделать ему что-нибудь приятное?

Вот негодяйка, вот ленивая дрянь! Да-да, это относится к тебе. Ты всегда думаешь только о себе, о своем драгоценном времени, которое тратишь на то, чтобы еще больше книжной мудрости втиснуть в твою голову, где и без того все так запутано. «На что мне все, если я любви не имею»[29]. У тебя всегда полно теорий, позволяющих тебе чувствовать себя благородной, а на самом деле ты бежишь даже от малейшего проявления любви. Нет, это никакое не проявление любви. Это что-то очень принципиальное, важное и трудное. Глубоко внутри любить своих родителей. Это значит прощать им все свои трудности, вызванные одним их существованием: зависимость, отвращение, тяготы, которые они своей собственной сложной жизнью добавляют к твоей не менее сложной жизни. Кажется, пишу здесь совершенную чушь. Но это нестрашно. А сейчас надо застелить постель папы Хана, подготовить задание для ученицы Леви и т. д. Но в любом случае у меня есть программа на эти выходные: действительно любить отца и простить ему, что он нарушил мою удобную жизнь и мой покой. В конце концов я его очень люблю, лучше сказать, любила какой-то сложной любовью: слишком натянутой, напряженной и перемешанной с такой массой сострадания, что порой мое сердце прямо разрывалось. И все же это сострадание имело черты мазохизма. Это была любовь, ведущая не к простым добрым отношениям, а к жалости и досаде. Было столько стараний, чрезмерного радушия, что каждый день

его пребывания здесь стоил мне целой упаковки аспирина. Однако с тех пор прошло много времени. Теперь все гораздо лучше. Но напряжение все еще остается. И это наверняка связано с тем, что раньше, когда он навещал меня здесь, я всегда злилась на него. Теперь надо внутренне простить ему это. И не только в мыслях, а по-настоящему захотеть доставить ему приятное тем, что он поменяет обстановку. Ну, чем не утренняя молитва.

Воскресенье [30 ноября 1941], 10.30 утра. И все же я не располагаю достаточным пространством, чтобы вместить все множество имеющихся во мне и вообще в жизни противоречий. В момент принятия одного я изменяю чему-то другому. В пятницу вечером — диалог между S. и L. о Христе и евреях. Два жизненных взгляда, оба четко очерченные, блестяще документированные, оба цельные, отстаиваемые со страстью и агрессивностью. И несмотря на это, у меня снова чувство, что в каждую сознательно защищаемую точку зрения вкрался обман, что-то постоянно происходит за счет попираемой «истины». И все же я с пылом стремлюсь защитить, огородить свою кровью отвоеванную собственную территорию. А потом опять приходит чувство, что жизнь растрачена зря. И вместе с тем страх погрузиться в хаос и неопределенность. Как бы там ни было, после всех этих споров я шла домой возбужденная, полная сил. Однако внутри — постоянный вопрос: не абсурдно ли все это? Почему люди так, до смешного, деятельны? Не обманываются ли они? Это всегда подстерегает меня где-то там, на заднем плане.

И вот приехал папа. Полный любви. Заученной, наигранной любви. Днем раньше, после энергичной утренней молитвы, я чувствовала себя освобожденной, счастливой, легкой. Но когда появился папа, мой маленький, такой беспомощный папа, с каким-то чужим зонтиком, новым клетчатым галстуком и множеством пакетиков с бутербродами, на меня опять напало смятение, силы исчезли, я почувствовала себя ужасно подавленной, несчастной. И потом под влиянием дебатов вчерашнего вечера во мне присутствовал постоянный протест. И любовь совсем не помогала. Ее как и не было. Было странное чувство, будто я совершенно парализована. Снова хаос и путаница. Несколько часов кризиса и — *«рецидив»*, как в худшие времена. Этим я могу измерить, как плохо мне бывало раньше. После полудня я свалилась в постель. Человеческая жизнь вновь стала сплошной историей страданий и т. д. Слишком канительно, чтобы все это описать.

Потом взаимосвязь вещей прояснилась. Будучи уже в

возрасте, мой папа всю свою неуверенность, сомнения, быть может, чисто физический комплекс неполноценности, неразрешимые супружеские проблемы и т. д. и т. п. прятал за своей философской позицией. Позицией подлинной, достойной, полной юмора и проницательности, но при всем этом — достаточно смутной. Под покровом философии, которой можно все оправдать, которая пристально следит только за случайным, поверхностным, без более глубокого проникновения в суть вещей, он с самого начала отказался от достижения ясности, несмотря на то, что знает, что глубина существует; и отказался именно потому, что наверняка знает, как неизмеримо глубоки бывают вещи. Под защитой покорной судьбе жизненной философии, которая говорит: «ах, да кто же может это понять», кроется зияющий хаос. И это тот самый хаос, который угрожает мне, из которого мне надо выбраться, в избавлении от которого я вижу свою жизненную цель и в который я каждый раз снова попадаю. А еще некоторые высказывания моего отца, выражающие самоотречение, юмор, сомнения, отзываются во мне чем-то близким, чем-то, что у нас с ним общее, но что я должна еще перерасти.

Поверх острых споров вчерашнего вечера и, конечно, на фоне всех моих реакций — всегдашний вопрос: не бессмысленно ли все это. И этот неприятный звук на заднем плане внезапно усиливается вторжением в мой мир моего отца. И от этого, естественно, снова противление ему, чувство парализованности, бессилия. Собственно говоря, это никак не связано с моим папой, то есть с его личностью, его дорогой, трогательной, достойной любви личностью. Это процесс, происходящий во мне самой. Взаимоотношения поколений. И из этого хаоса, хаоса моих родителей, я должна теперь формироваться. И поскольку в определенных вещах они не заняли никакой четкой позиции, это должна сделать я. Я должна *«столкнуться»* с этими вещами, несмотря на это присутствующее ощущение бессмысленности. Ах, дети мои, уж такова жизнь и т. д. и т. п.

Когда взаимосвязь вещей стала мне понятна, ко мне вернулись силы, а с ними любовь, и несколько часов страха были преодолены.

Среда [3 декабря 1941], 8 часов утра, в ванной комнате. Проснулась среди ночи. И вспомнила, что мне приснилось что-то очень значимое. Несколько минут сильного, жадного напряжения, попытка восстановить в памяти сон. Я чувствовала, что он тоже часть меня, часть, на которую у меня есть право, которой я не должна позволить ускользнуть, которую должна знать, дабы

ощущать себя отдельной, цельной личностью.

В 5 часов снова проснулась. Тошнота и легкое головокружение. Или я себе это только придумала? Затем пять минут мучительного страха, знакомого всем молодым девушкам, внезапно осознающим возможность появления нежеланного для них ребенка.

Думаю, мне полностью отказано в материнском инстинкте. Себе самой объясняю это следующим образом: жизнь в своей основе я считаю большой дорогой страданий, а всех людей — несчастными существами. Поэтому не могу взять на себя эту ответственность, не могу добавить человечеству еще одно несчастное создание.

Позже. У меня есть несколько бессмертных заслуг перед человечеством: я не написала ни одной плохой книги и я не причастна к появлению еще одного несчастного на этой земле.

Снова опускаюсь на колени на жесткую кокосовую подстилку, руки перед лицом, и прошу: о Господи, дай мне раствориться в одном большом неделимом чувстве. Помоги мне с любовью исполнять тысячи мелких ежедневных дел, но пусть каждое маленькое действие вытекает из самого центра большого чувства готовности и любви. Тогда не играет никакой роли, что делать и где. Но так далеко я пока не продвинулась. Проглочу сегодня штук двадцать таблеток хинина, у меня такое странное чувство там, южнее диафрагмы.

Пятница [5 декабря 1941], 9 часов утра. Вчера, во время прогулки сквозь утренний туман, снова чувство: фактически я уже достигла своего предела, все уже было, я уже все испытала, зачем мне еще жить. Прекрасно знаю, что дальше идти некуда, что границы станут слишком тесными, а за ними — только психбольница. Или смерть? Но так далеко в своих мыслях я еще не заходила. Лучшее средство от этого — сухая грамматика или сон. Насыщенной жизнь для меня бывает лишь в тот момент, когда я могу забыться в отрывке прозы, в стихе, который должна отвоевывать слово за словом. Мужчина не является для меня чем-то важным. Может быть, оттого, что вокруг меня всегда было так много мужчин? Иногда кажется, что я пресыщена любовью, но в хорошем смысле. Собственно говоря, я всегда очень хорошо жила, и сейчас тоже. Мне иногда кажется, что стадия «Я и Ты» осталась где-то позади. Да, после такой ночи нечто подобное легко говорится. А теперь, мои дорогие ноженьки, — в горячую воду. Для меня невозможна суета даже вокруг нерожденного ребенка.

Будет видно.

4.45 пополудни. Сейчас важно не дать захватить себя тому, что во мне происходит. Каким угодно образом, но это должно оставаться второстепенным. Я имею в виду, что никогда нельзя позволять чему-то одному полностью парализовать тебя, как бы ни было плохо. Никогда не должен прерываться главный поток жизни. Я снова беру себя в руки и говорю: сейчас тебе надо подготовить урок на завтра, а вечером начать «Идиота» Достоевского, не для удовольствия, а чтобы основательно, как поденщик, поработать над книгой. А между делами, время от времени, буду прыгать с лестницы и совершать этот водный обряд. Чувство, будто во мне происходит что-то таинственное, о чем никто не знает. В конце концов я причастна к стихийному проявлению природы. И все-таки, находясь действительно в тягостной ситуации, а она несомненно такова, я замечаю в себе твердое намерение не покориться. Я позабочусь, чтобы все было в порядке. И так будет. Спокойно работай дальше, не расходуй свои силы на эти вещи. В 2 часа была короткая, наполненная смыслом прогулка с S. В нем снова было что-то сияющее, мальчишеское. Он излучал подлинное человеколюбие, лучи которого немного касались и меня, и я отражала их во все стороны. Белые хризантемы. *«Так свадебно»*. Внутренне я верна ему. И Хану я тоже верна. Я всем верна. Иду по улице рядом с мужчиной, несу в руках белые цветы, напоминающие букет невесты, и, сияя, смотрю на него. Двенадцать часов назад я была в объятиях другого мужчины и любила его, и сейчас люблю. Это плохой тон? Падение? Для меня это совершенно нормально. Наверное, потому что физическое несущественно для меня, теперь еще более несущественно. Это другая, всеобъемлющая любовь. Может, я ошибаюсь? Слишком изменчива? И в своих отношениях тоже? Думаю, нет. И как это я дошла до такой совершенно нелепой болтовни?

Суббота [6 декабря 1941], 9.30 утра. Сначала надо хорошенько взбодриться, чтобы набраться мужества на этот день. Утром проснулась со свинцовой тяжестью на сердце, с темным беспокойством без какой-либо сенсационной примеси. В конце концов, это не пустяк.

Такое чувство, словно я спасаю человеческую жизнь. Нет, это просто смешно: спасать человеку жизнь, всеми силами отстраняя его от нее. Я хочу избавить тебя от этой юдоли печали и не дам тебе переступить ее порог. Я оставлю тебя в безопасности нерождения, и ты, уже существо, будешь мне благодарно.

Испытывая к тебе почти что нежность, я атакую тебя горячей водой и страшными инструментами и буду терпеливо, настойчиво бороться с тобой до тех пор, пока ты снова не растворишься в пустоте, и тогда у меня появится чувство, что я совершила что-то хорошее, что поступила ответственно. Я ведь не смогла бы дать тебе достаточно сил, уж слишком много ростков нездоровья роится вокруг моей семьи. Когда недавно я была свидетелем, как Мишу в совершенно ужасном состоянии насильно отправили в больницу, — поклялась себе, что никогда не допущу, чтобы из моей утробы вышел такой несчастный человек.

Только бы это длилось не слишком долго, а то мне будет ужасно страшно. Прошла лишь неделя, а я уже истощена всем этим. Но, поверь мне, я перекрою тебе дорогу в эту жизнь, и ты никогда не пожалеешь об этом.

Пятница [12 декабря 1941], 9 утра. Зачастую люди сетуют на утреннюю темень. Но для меня, когда начинающийся день серо и беззвучно стоит в блеклой оконной раме, — это лучшие часы. Тогда единственное световое пятно, падающее в этой седой тишине на черную поверхность письменного стола, исходит от маленького светящего мне торшера. Во всяком случае, это были мои лучшие часы на прошлой неделе. Я полностью ушла в «Идиота», сосредоточенно переводила некоторые строчки, кое-что записывала в тетрадь, делала короткие замечания, и вдруг — 10 часов. Потом чувство: да, правильно работать надо вот так, полностью погружаясь.

Сегодня утром во мне удивительный покой. Как после затихшего шторма. Замечаю, что он, этот покой, всегда возвращается. Возвращается вместе со стремлением к ясности, с рождением фраз и мыслей, которые очень долго не хотели появляться на свет, возвращается после наполненных чрезвычайно интенсивной внутренней жизнью дней, после предъявления к себе огромных требований, важнейшее и необходимейшее из которых — поиск собственной формы и т. д. и т. п. Затем — раз, и все спадает, и мой успокаивающийся мозг охватывает благотворная усталость, и меня, наперекор мне самой, пронизывает какая-то доброта, мягкость, и ниспадает вуаль, сквозь которую мягче и приветливее ко мне проникает жизнь. Слияние с жизнью. И еще: это не я как отдельная личность хочу чего-то или должна что-то. Если слишком сильно выставлять себя на передний план большой, доброй, волнующей, вечной жизни, если упираться и протестовать, — пройдешь мимо широкого, мощного потока, который и есть жизнь. Это действительно

моменты, и я благодарна за них, когда уходят в сторону все личные стремления, когда успокаивается моя страсть к пониманию и к познанию, и тогда внезапно, широким взмахом крыла надо мной открывается кусочек вечности.

Знаю, слишком хорошо знаю, что такое настроение не задерживается. Через полчаса оно, наверное, снова исчезнет, но до того, как это произойдет, я получу от него немного сил. А может, эта мягкость и простор надо мной только следствие того, что я приняла вчера шесть таблеток аспирина от головной боли, или это из-за Мишиной игры, или теплого тела Хана, в котором я полностью спряталась этой ночью? Кто может это сказать и что это меняет?

Эти пять минут еще мои. За спиной тикают часы. Шорохи в доме и на улице, как далекий прибой. Из квартиры напротив сквозь тусклое дождливое утро прорывается свет круглой белой лампы. Здесь, перед большой черной поверхностью моего письменного стола я как на одиноком острове. Черная марокканская девочка смотрит в серое утро своим серьезным, темным, звериным и одновременно спокойным взглядом. И что в том, проработаю я одной страницей больше или меньше? Только бы прислушиваться к своему собственному ритму и пытаться жить согласно этому ритму. Прислушиваться к тому, что восходит в тебе. Ведь большинство твоих действий — это только подражание кому-то или вымышленные обязанности, или ложные представления о том, каким должен быть человек. Единственную уверенность в том, как надо жить и что делать, можно почерпнуть только из источника, бьющего в твоей собственной глубине. Я говорю это сейчас с большим смирением и благодарностью, я и вправду так думаю, хотя знаю, что придет момент, и я буду опять вспыльчива и раздражительна. Бог мой, я благодарю тебя за то, что ты создал меня такой, какая я есть. Я благодарна за то, что иногда чувствую в себе такой простор, ибо простор этот есть не что иное, как наполненность тобою. Я обещаю тебе, что всю свою жизнь буду стремиться к чистой гармонии, смиренности, к истинной любви, возможность которой чувствую в себе в свои лучшие моменты. А теперь убрать стол после завтрака, подготовить урок для Леви и немного подкрасить рожицу.

Воскресенье [14 декабря 1941], утро. Вчера вечером, незадолго до сна, я неожиданно посреди этой большой комнаты опустилась на колени на светлый коврик между железными стульями.

Это вышло само собой. Принужденная чем-то, что сильнее меня. Недавно я сказала себе: я упражняюсь в

коленопреклонении. Слишком стесняюсь этого жеста, который так же интимен, как жесты любви, о которых тоже может сказать только поэт. «Иногда я чувствую, что несу Бога в себе. Например, когда слушаю „Страсти по Матфею“», — сказал однажды один пациент S. И S. отреагировал примерно следующим образом: *«В такие моменты у него абсолютный контакт с действующими в каждом человеке творческими и космическими силами. Творческое же в нас, по большому счету, есть частица Бога, нужно только иметь мужество произнести это»*.

Его слова сопровождают меня вот уже несколько недель: «Нужно иметь мужество произнести это». Иметь мужество произнести имя Бога. S. как-то сказал, что очень долго не мог осмелиться выговорить его имя. Это казалось ему чем-то нелепым, при том, что он верил в него. *«И вечерами я тоже молюсь, молюсь за людей»*. А я бесстыдно и невозмутимо, ибо, как всегда, хотела все знать, спросила: *«О чем же вы молитесь?»* Его охватила известная мне робость, и этот человек, обычно всегда дающий на мои тончайшие, интимнейшие вопросы ясные, четкие ответы, смущенно сказал: *«Этого я вам не скажу. Не сейчас. Позже»*. Я спрашиваю себя, как может быть, что война и все, что с этим связано, так мало трогает меня. Может быть, потому, что это уже моя вторая мировая война? Первую я пережила, сильно пережила в послевоенной литературе. Общественный переворот, страстное противостояние, дебаты, социальная справедливость, классовая борьба и т. д. и т. п. Все это мы уже один раз прошли. Второй раз, заново, — не получается. Это уже клише. Снова каждая страна молится за свою собственную справедливую победу, снова бесчисленные лозунги, но, так как мы все это испытываем во второй раз, было бы смешно и пошло волноваться или страстно высказываться по этому поводу.

Вчера вечером посреди разговора я сказала двадцатиоднолетнему Хансу: «Дело в том, что политика не является важнейшим в твоей жизни». А он: «Нет надобности целый день говорить об этом, но тем не менее это очень важно». Между его 21-м и моими 27-ю годами — целое поколение. Сейчас полдесятого утра, позади меня в сумраке комнаты тихо и доверчиво храпит Хан. Серое, беззвучное воскресное утро перерастает в светлый день, а он в вечер, и я вместе с ним. У меня ощущение, будто за эти последние три дня я повзрослела на несколько лет. А теперь — послушно, дисциплинированно за перевод и русскую грамматику.

2 часа пополудни. Неожиданно при составлении каталога в библиотеке S. мне в руки попал «Часослов» Рильке. Как бы

парадоксально это ни прозвучало, я все же скажу: S. лечит людей тем, что учит их принимать страдания.

Среда [17 декабря 1941], вечером. Рут[30] получает подарки от восторженных театралов маленького провинциального немецкого городка, а Герта, работая в книжном киоске лондонского парка, — от проституток. Белокурой опереточной звезде 22 года, а меланхоличной темноволосой девушке 25, и вторая — будущая «мать» первой. Настоящая же мать «обручена» с 25-летним молодым человеком, хотя ей самой уже 50. А бывший муж, отец и будущий супруг живет в двух маленьких комнатах в Амстердаме, читает Библию, должен каждый день бриться и, как плодами в роскошном фруктовом саду, к которым ему стоит лишь протянуть свои жадные лапы, окружен множеством женских бюстов. При этом *«русская секретарша»* пытается из всего перечисленного создать ясную картину. Растет дружба, все глубже уходящая своими корнями в ее беспокойное сердце. Она продолжает говорить ему *«вы»*, но, возможно, она держит дистанцию ради сохранения представления о целом. Давно рассеявшись, обрело *«здравый смысл»* безумное, страстное желание «раствориться» в нем. Желание «раствориться» в человеке вообще ушло из моей жизни. Быть может, осталось желание «посвятить себя» Богу или Стиху.

Огромный череп человечества. Могучий мозг и большое сердце. Все мысли, в том числе и самые противоречивые, происходят из этого единственного мозга — мозга человечества, всего человечества. Я воспринимаю его как одно большое целое, и наверное поэтому во мне, порой вопреки всем противоречиям, — сильное чувство гармонии и мира. Нужно познать все мысли и пропустить через себя все эмоции, чтобы познать все, что было задумано в этом необъятном черепе, что прошло через большое сердце.

Стало быть, жизнь — это переход от одного спасительного момента к следующему.

Мне свое спасение, пожалуй, придется — подобно мужчине, который в случае острой необходимости ищет его, как принято говорить, у «шлюхи», — часто искать в куске плохой прозы, поскольку иногда так жаждешь избавления, что готов на что угодно.

Понедельник [22 декабря 1941], 5 часов вечера. Его интимные жесты в общении с женщинами мне известны, хотела бы еще знать, каковы они, когда он общается с Богом. Он молится

каждый вечер. Опускается ли он на колени в маленькой комнате? Прячет ли тяжелую голову в своих больших, добрых руках? И что он при этом говорит? И становится на колени до того, как вынимает свою вставную челюсть, или после? Однажды в Арнеме: *«Я как-нибудь покажу вам, как я выгляжу без зубов. Тогда я такой старый, умудренный»*.

«О девочке, которая не могла стать на колени». Сегодня, в серых утренних сумерках, в приступе внутреннего разлада я бросилась на колени между разобранной постелью Хана и его пишущей машинкой. Сгорбилась и лбом — в пол. Жест, которым я хотела добиться покоя. А когда увидела, что вошедший Хан с удивлением наблюдает эту сцену, сказала, что искала пуговицу. Но это была неправда. Тидэман, коренастая рыжеволосая 35-летняя женщина, однажды вечером сказала своим ясным голосом: «Видишь ли, я в этом как ребенок. Когда у меня трудности, я опускаюсь на колени посреди комнаты и спрашиваю Господа, что мне делать». Целуется она как подросток, S. однажды показал мне, как именно. Но в своем отношении к Богу она зрелый, уверенный человек.

Многие люди слишком зажаты, слишком ограничены в своих представлениях и, оставаясь такими, воспитывают своих детей. Поэтому у детей так мало свободы действия. В нашей семье было как раз наоборот. Моих родителей, по-видимому, так сильно одолевали бесконечные, постоянно увеличивающиеся в своей массе жизненные трудности, что они никогда не были в состоянии сделать какой-либо осознанный выбор. Они дали своим детям полную свободу, но при этом не смогли дать точки опоры, потому что у них самих никогда ее не было. Они ничем не могли способствовать нашему формированию, потому что не нашли формы для себя.

И я опять все более и более четко осознаю нашу миссию: дать их бедным, блуждающим, так и не сформировавшимся, не нашедшим точки опоры талантам возможность расти, зреть и находить форму в нас.

Как реакция на отсутствие формы, которое у них не широта натуры, а всего лишь неряшливость, неуверенность, так сказать, неорганизованность, во мне возникает частое, но в последнее время, может быть, уже не такое судорожное стремление к единству, к системе. Но единство хорошо только тогда, когда оно содержит в себе все контрасты, все иррациональные моменты, а иначе из этого снова получатся лишь угнетающие нашу жизнь суета и инертность.

30 декабря 1941 года, вторник, 10 часов утра. В момент пробуждения в Девентере я почувствовала, как угловато и плотно врастаю в ледяное утро.

Несколько коротких записей. Просто чтобы при свете хорошо знакомой лампы немного побыть в гостях у самой себя. Некоторые будничные дела. Я заметила, что мне лучше всего вставать рано. И как всегда, холодная вода кажется мне чуть ли не геройством. Ведь фактически я здорова, главное для меня — это душевное равновесие, тогда все остальное функционирует само по себе. Благодаря куриным бедрышкам завтрак был торжественно приподнятым. Дорогая моя мамушка[31], всю свою любовь она обращает в куриные бедрышки и крутые яйца.

Поезд в Девентер. Когда вижу вокруг себя много лиц, мне хочется писать роман. Абеляр и Элоиза. Мирный и немного грустный пейзаж, я смотрела в окно, и мне казалось, будто я еду через свою собственную душу. *Пейзаж души*. Часто бывает, что внешнее предстает передо мной как отражение внутреннего. В четверг днем гуляла вдоль Эйссела. Сияющее, светлое раздолье. И снова чувство, что бреду сквозь собственную душу. Сказано несколько вычурно. Лучше молчи.

Мама. Внезапная волна любви и сочувствия унесла всю мою незначительную раздраженность. Через пять минут она, естественно, опять вернулась. Но потом, днем, и вечером вновь чувство: наверное, придет время, когда ты будешь очень старой, и тогда я побуду с тобой и помогу разобраться во всем, что таится внутри тебя, помогу избавиться от твоего непокоя, ибо постепенно начинаю познавать тебя.

Мама, сказавшая в какой-то момент: «Да, вообще, я религиозна». Несколько дней назад, стоя у плиты, примерно то же самое повторила тетя Пит: «В общем-то, я религиозна». Это «в общем-то» доставляет им много хлопот. Научить бы людей пропускать это словосочетание, чтобы у них появилось мужество отстаивать свои самые сокровенные чувства. Что они этим «в общем-то» имеют в виду?

Я благодарна, не подобрать слов, чтобы выразить, как сильно я благодарна за то, что в лучшую пору его жизни могу быть рядом с ним. «Благодарна» — не совсем то слово.

Среда, 31 декабря 1941 года, 8 часов вечера. Пульмонолог, осматривавший его широкую грудную клетку, все время усмехался. На каждый вопрос о кашле, мокроте или бог знает о чем еще S. постоянно отвечал: *«К сожалению, ничем не могу быть вам полезен»*. Первое, что он сказал, выйдя из кабинета, было:

«Мне надо срочно ехать в Давос». Я настаивала на том, что в таком случае он должен взять с собой весь гарем. *«Да, Швейцария будет мне благодарна»*. На улице я не переставала подсмеиваться над ним. А он, угрожающе: *«Подождем до пятницы, когда будет готов рентгеновский снимок»*. С большим трудом мы на тележке купили три лимона, заплатив за каждый десять центов вместо обычных семи. После этого нам вдруг сильно захотелось торта со взбитыми сливками. А потом мы опять брели по улицам, я в казацкой шапке набекрень, каким-то сложным образом повиснув на его руке, и он, со своим смешным беретиком на седой голове. Престранная *«любовная парочка»*.

И вот уже почти 8.30. Последний вечер года, ставшего для меня богатейшим, плодотворнейшим, да и самым счастливым из всех минувших лет. Если бы я должна была охарактеризовать его одним-единственным словом, это слово должно было бы звучать так: большое осознание. Этот год начался 3 февраля, когда я робко позвонила в дверь на улице Курбе, 27, и жуткий мужик с антенной на голове рассматривал мои руки. Осознание! И благодаря ему — освобождение глубоко заложенных во мне сил. Раньше я тоже принадлежала к тем, кто временами думает: «да, в общем-то, я религиозна». Или что-то в этом духе. Теперь же, иногда даже холодной зимней ночью, мне вдруг необходимо, прямо возле кровати опустившись на колени, *вслушаться в себя*. Быть ведомой не тем, что подступает снаружи, а тем, что поднимается изнутри. Знаю, это только начало. Но начало уже не колеблющееся, а с прочным фундаментом.

Уже 8.30, газовая плита, желтые и красные тюльпаны, ни с того ни с сего шоколадная конфета от тети Хэс[32] и все еще лежащие подле марокканской девочки и Пушкина три сосновые шишки с луга Ларена. Чувствую себя так «привычно», так совершенно привычно и приятно, как чувствует себя обычный человек, без всех этих страшно глубоких, угнетающих мыслей. Словом, совсем нормальный человек, но вместе с тем полный жизни и глубины, но глубины, ощущаемой как что-то «привычное». Кроме того, упоминания еще заслуживает предусмотренный для сегодняшнего вечера салат из лосося. Теперь я займусь чаем, тетя Хэс вяжет жилет, папа Хан возится с фотоаппаратом, а почему бы и нет; нахожусь я в этих четырех стенах или в других, что это решает? Главное ведь в другом. И я надеюсь сегодня вечером еще немножко продвинуться в Юнге.

7 января 1942 года, среда, 8 часов вечера. Сегодня днем, около занесенного снегом канала, после этой неожиданной сцены в Еврейском совете: *«Я значительно меньше уверен в безупречности*

своих знаний, чем в своих человеческих качествах».

И позже, когда мы держались за петли 24-го трамвая: *«Хорошо, что вы были при этом. Вы всегда вдохновляете меня, потому что вы всему так сильно сопереживаете, а я, можно сказать, вообще-то „человек сцены“»*.

Во мне есть какая-то внутренняя потребность либо что-то выразить остроумно и очень метко, либо вообще ничего не говорить. Я не берусь за описание всяких неожиданных, смешных случаев, потому что даже самой себе боюсь показаться «безвкусной». Но сейчас я все же заставлю себя описать сегодняшнее происшествие, описать совсем просто, упомянув лишь голые факты. Хотя вряд ли возможны голые факты в том, что касается S., так как все, что исходит от него, всегда так необычно. Итак: в 4.30 он должен был быть в Еврейском совете. Большого восторга этот поход в нем не вызывал. Анкеты, источники доходов, *«эмиграционный номер»*, гестапо и прочие веселые вещи. За столом — молодой человек. Чувственное, тонкое, умное лицо. *«Русская секретарша»* нагловатым образом ходит по пятам за S., потому что он якобы плохо слышит, но фактически только для того, чтобы присутствовать при всем этом. На сей раз оно того стоило. После мирной, приятной беседы между S. и добродушным, действительно очень учтивым молодым человеком вдруг появляется небольшого роста мужичок, который с восторгом обращается к S.: *«Добрый день, господин S.»*. S. взглянул на человека с восхитительной мефистофелевой головой на небольшом теле и, не узнав его, сказал наугад: *«А, вы как-то приходили на мои занятия»*.

Что-то в этом роде, мне кажется, может произойти с ним в любой точке Европы. Когда мы вместе идем по улице, через каждую пару шагов кто-нибудь подходит к нему с распростертыми объятиями, и тогда S. сразу же говорит: *«А, вы были моим пациентом»*. Но этот человек, с его острым, саркастическим, дьявольским лицом, так сильно контрастирующим с чувственным, мягким лицом молодого человека, на самом деле никогда не был на его занятиях, а знал S. через семью Нэтэ и с величайшим удовольствием пришел бы когда-нибудь как пациент. И это резкое лицо говорит нежному лицу: «Остерегайся господина S., он может все о тебе узнать по твоим рукам». Молодой человек тут же кладет свою открытую правую лапу на стол. S., располагая временем, идет на это. Вообще, очень трудно описать, что произошло дальше, потому что, когда S. говорит, например, «это стол», и кто-то другой тоже говорит «это стол», то получаются два совершенно разных стола. Что бы он ни говорил о самых простых вещах, это звучит очень

впечатляюще, значительно, я бы сказала, звучит весомей, чем когда то же самое говорит кто-то другой. Не то чтобы он при этом как-то важничал, а просто у него все исходит из более глубинных, более сильных человеческих источников, чем у большинства других людей. И в своей работе, дабы проникнуть в человеческую сущность, он никогда не ищет ничего сенсационного, а только глубоко человеческое. И при этом все, что он делает, — всегда сенсационно.

Итак, назад в голый кабинет Еврейского совета. Чувствительный молодой человек держит свою руку под любопытным взглядом Мефистофеля, и S. с первых же слов устанавливает с ним крепкий человеческий контакт. Не следует забывать, что мы пришли для выяснения вопроса о состоянии нашего имущества. Я не смогу очень точно повторить все, что S. говорил, но помню, он сказал: «Работа, которую вы здесь исполняете, хотя вы и делаете ее добросовестно, противоречит вашей натуре». А потом себе под нос: «Этот молодой человек интроверт». Нет, это все-таки слишком трудно описать. Подыгрывая, как усердная школьница, я добавила: *«В нем есть что-то женственное, чувственное»*. Похоже, этот молодой человек обладал непроявившимися ввиду недостающей ему веры в себя способностями. И еще S. сказал: *«Если перед вами поставлена задача, вы с ней очень хорошо справляетесь, но, когда выбор нужно делать самому — вы теряетесь»* и т. д. и т. п. В результате ошарашенный и окончательно смущенный молодой человек сказал: *«Но, господин S., то, что вы мне здесь сообщили за две минуты, в точности показал тест, который я недавно прошел»*. И тут же договорился о консультации и надавал тысячу советов по поводу заполнения анкет.

Да, мне совершенно не удается передать комичность курьезных сцен. Позже, стоя у заснеженного канала, мы, как шаловливые школьники, давились от смеха из-за неожиданно гротескного исхода этого бюрократического дела: назначенная консультация и служащий, который от внезапной расположенности к нам вытащил бы нас из петли закона, если бы только мог.

11 января [1942], 11.30 вечера. Я рада, что с утра в неубранной кухне меня будет ждать гора немытой посуды. Своего рода наказание. Понимаю, почему монахи в грубых рясах становятся на колени на холодные камни. Надо очень серьезно задуматься над этими вещами. Сегодня вечером мне снова немного грустно. Но ведь я сама захотела этих объятий. Милый мой. При этом он как раз намеревался ввиду ожидающего его

через несколько недель гестапо вести целомудренный образ жизни. Выражаясь простодушно, хотел излучать лишь добро и таким образом притянуть к себе из космоса добрых духов. Почему бы и не поверить во что-то такое. И тут пришла эта дикая *«киргизка»* и разбила все его чистые мечты. Я спросила, не будет ли он позже, вспоминая сегодняшний день, раскаиваться. *«Нет*, — сказал он, *— я никогда ни о чем не жалею. Это было прекрасно, и к тому же показало, что даже сейчас во мне есть еще что-то „земное“. Для меня физическая близость всегда проистекает из „духовной“, и поэтому — все хорошо»*. И что при этом чувствую я? Опять же печаль. Я сознаю, что все чувства, которые к кому-то испытываю, не могу выразить в объятии. И отсюда ощущение, что именно в момент объятий он ускользает от меня. Лучше видеть его рот на расстоянии и томиться по нему, чем чувствовать на своем. В очень редкие моменты я бываю от этого по-своему счастлива, чтобы однажды все-таки использовать это громкое слово. Сегодня ночью просто от тоски лягу спать с Ханом. Все так сумбурно.

Вот теперь я наконец знаю: он молится после того, как вынимает свои искусственные зубы. В общем, логично. Сначала надо свести счеты со всеми мирскими делами.

Похоже, у меня период расцвета. Как утверждает S., я выгляжу прекрасно, и он радуется этому вместе со мной. Сравнивая этот год с прошедшим (с двухчасовым дневным сном и ежемесячным фунтом аспирина), можно сказать, что я была тяжело больна. Помню, все было действительно ужасно. Сегодня вечером еще раз полистала эту тетрадь, ставшую для меня чем-то вроде «классической литературы». Какими же далекими кажутся мне былые проблемы. Поиск близости с Богом, и по вечерам у окна — благодарение ему. В моем внутреннем царстве — мир и покой. Это был действительно тяжелый путь. Сейчас все кажется таким простым и само собой разумеющимся. Меня неделями преследует одна фраза: «Надо иметь мужество произнести то, о чем думаешь». Произнести имя Бога. Сейчас, в этот момент — вялая, уставшая, печальная и не вполне удовлетворенная собой — я ощущаю это не так остро, но все равно это не покидает меня. Сегодня вечером, наверное, разговора с Богом не будет, хотя меня тянет к холодным камням, размышлениям, к серьезности. К серьезности по отношению к телесным вещам. Но мой темперамент идет своей собственной дорогой и не находит гармонии с душой. И все же, несмотря на то, что все меньше верю, что для моего тела и моей души возможен один-единственный мужчина, я думаю, что в этих вещах во мне тоже есть потребность в гармонии. Все-таки мне сейчас не так тяжело,

как раньше. Я уже не падаю так глубоко. В самой подавленности уже заключен подъем. Раньше я думала, что всю свою жизнь проведу в тоске, а теперь знаю, что и эти моменты тоже принадлежат моему жизненному ритму, и это хорошо. Во мне есть вера, большая вера, и в себя тоже. Я доверяю той серьезности, что есть во мне, и постепенно осознаю, что могу сама управлять своей жизнью. Бывают моменты, большей частью, когда я одна, в которые чувствую к нему глубокую и благодарную любовь: *ты так мне близок, что я хотела бы делить с тобой твои ночи*. И это — вершина моего к нему отношения. При этом вполне возможно, что в действительности такая ночь могла бы стать катастрофой. Не зияет ли здесь странная пропасть?

А теперь — спокойной ночи, а то от сонливости я начинаю много болтать. Завтра с утра — немытая посуда!

И все-таки: я не хочу физической близости с ним, хотя порой бываю безумно влюблена. Можно ли на основании этого сказать, что я его так глубоко, чуть ли не *«космически»* люблю, как физически любить вряд ли возможно?

Тидэ и я, хотя мы такие разные, — самые близкие ему люди. Мы должны очень беречь друг друга. Когда сегодня днем, провожая, Тидэ поцеловала нас обоих, между нами тремя на мгновение возникла странная интимность. Ну, когда ж ты наконец-то отправишься в постель?

19 февраля 1942 года, четверг, 2 часа пополудни. Сильнейшее впечатление сегодняшнего дня — большие, лиловые, замерзшие руки Яна Бола. Снова кто-то замучен до смерти. На сей раз это был тихий молодой человек из «Культуры»[33]. Помню, он играл на мандолине, встречался с одной милой девушкой, ставшей потом его женой, и у них родился ребенок. «Изверги», — сказал Ян в переполненном университетском коридоре. Они искалечили его. Как и Яна Ромейна, и Тилроя, и еще многих преподавателей — пожилых, слабых людей. В том самом месте, в Велюве, где раньше в гостеприимном пансионате они проводили летние каникулы, теперь их держат в насквозь продуваемых бараках. Они даже не смеют носить собственные пижамы, не смеют иметь при себе свои вещи, — рассказывала в университетском кафе Алейда Схот. Их хотят совершенно раздавить, довести до ощущения собственной неполноценности. Морально люди достаточно сильны, но здоровье у большинства из них подорвано. Говорят, Пос живет в монастыре в Харене и пишет книгу. Сегодня утром на лекции было так мрачно. Но был и просвет. Короткий, случайный разговор с Яном Болом на трамвайной остановке в холодном узком переулке Лангебрюг.

«Что это в людях такое, что они стремятся к уничтожению других?» — с горечью спросил Ян. Я: «Люди, да, люди. Но подумай, ты ведь тоже один из них». И, вопреки моему ожиданию, он, упрямый, ворчливый Ян, он согласился. «И низость других в нас тоже есть», — продолжала я дальше. «Я не вижу, действительно не вижу никакого иного выхода, кроме как заглянуть в собственное нутро и с корнем вырвать из него все плохое. Я больше не верю в то, что мы сможем что-либо улучшить в этом мире, пока сами не станем лучше. Мне кажется, что единственный урок этой войны — это необходимость поиска зла в самом себе». Ян как никогда соглашался со мной, он был открытым и вместо своего обычного проповедования твердокаменных социальных теорий задавался вопросами. Он сказал: «Это так мелко, предавшись жажде мести, настраивать на это всю свою жизнь, что в результате ничего нам не даст». Мы стояли на холоде и ждали трамвая. Ян с его большими, лиловыми, замерзшими руками и зубной болью. И мы не декларировали никаких теорий. Наши учителя арестованы, друг Яна убит, и можно еще много чего добавить, но мы говорили друг другу: «Месть — это слишком мелко». Для сегодняшнего дня — это в самом деле просвет.

Сейчас немного поспать, а потом заняться подругой Рильке[34]. Все продолжается, почему нет! Нужно было бы регулярней писать в этой тетради, но не хватает времени.

25 февраля [1942], среда. Сейчас 7.30 утра. Я подстригла ногти, выпила чашку настоящего какао и съела ломоть хлеба с медом, все это, так сказать, с воодушевлением. Наугад открыла Библию, но в этот момент она не дала мне никакого ответа. Собственно говоря, это и неплохо, поскольку нет никаких вопросов, а только большая вера и благодарность за то, что жизнь прекрасна. И посему этот момент можно считать историческим: не потому, что именно сейчас я должна идти с S. в гестапо, а потому, что, несмотря на этот факт, нахожу жизнь прекрасной.

27 февраля [1942], пятница, 10 часов утра. Человек сам создает свою судьбу. Это высказывание кажется мне поверхностным. Но вот как внутренне к этой судьбе относиться, человек действительно решает сам. Нельзя постичь чужую жизнь, зная только о ее внешних проявлениях. Чтобы познать жизнь другого человека, надо знать его мечты, его отношение к близким, его настроения и его разочарования, его болезнь и его смерть.

Ранним утром в среду мы с большой группой людей стояли в

помещении гестапо, и жизненные обстоятельства в этот момент были для всех нас одинаковыми. Мы все — и сидящие за столами, и те, кто пришел на допрос, — находились в одном месте. Но жизнь каждого была определена его внутренним отношением ко всему происходящему. Мне сразу бросился в глаза молодой человек, который носился туда-сюда с недовольным видом. Он никоим образом не скрывал своего недовольства, делал все так нервно, вымученно. Он постоянно искал предлог, чтобы только наорать на бедных евреев: *«Руки — из карманов!»* и т. п. На мой взгляд, он заслуживал сострадания больше, чем те, на кого он кричал. А их самих можно было жалеть настолько, насколько велик был их собственный страх. Когда подошла моя очередь, он вдруг заорал: *«Что вы находите здесь смешного?»* Мне хотелось ответить: *«Кроме вас, ничего»*. Но из дипломатических соображений я решила промолчать. *«Вы ведь беспрерывно смеетесь!»* — продолжал он орать. И я, совершенно невинно: *«Это бессознательно, это мое обычное лицо»*. Тогда он с миной, выражающей — я еще с тобой поговорю: *«Не придуривайтесь. В-в-о-он отсюда!»* Это, вероятно, был психологический момент, во время которого я должна была смертельно испугаться, но я быстро раскусила его маневр.

Мне вообще не страшно. Не оттого, что я очень смелая, а от чувства, что все еще имею дело с людьми, и хочу попытаться, насколько мне это удастся, понять ход мыслей каждого, от кого бы они ни исходили. И это был еще один исторический момент этого утра. Он состоял не в том, что я была обругана несчастным гестаповцем, а в том, что я не была этим возмущена, скорее я ему сочувствовала. Больше всего мне бы хотелось его спросить: «У тебя что, было несчастливое детство или, может, тебя бросила девушка?» Он выглядел нервным, измученным, впрочем, также по-настоящему неприятным и вялым. Мне очень захотелось тут же предложить ему психотерапию, поскольку я прекрасно понимала, что такие типы заслуживают сожаления лишь до тех пор, пока не могут причинить зла. Но если их спустить на человечество — становятся опасными для жизни. Преступна только система, использующая этих парней. И если речь идет об истреблении, то следует истреблять не самого человека, а зло, живущее в нем.

Кроме того, в это утро — необыкновенно сильное ощущение того, что я, вопреки всему горю и происходящей кругом несправедливости, не могу ненавидеть людей. И что все ужасающие, отвратительные события — не что-то далекое, полное таинственности и угрожающее нам снаружи, но находится вблизи нас и из нас, из людей, исходит. Поэтому оно кажется мне

знакомым и не таким пугающим. Ужасающим является то, что выросшая над людьми система равным образом дьявольски поглощает и свои жертвы, и своих изобретателей. Возвышаясь и господствуя над нами, как построенные людьми огромные здания и башни, она может рухнуть и погрести нас.

12 марта 1942 года, четверг, 11.30 вечера. Это было неописуемо красиво. Макс, общая чашка кофе, плохие сигареты и наша, рука об руку, прогулка по затемненному городу. И еще — сам факт, что мы идем вдвоем. Посвященным в нашу историю эта встреча наверняка показалась бы в высшей степени странной, так как поводом для нее послужило то, что Макс хочет жениться и к тому же хочет услышать мое, смешно, именно мое мнение. И это было прекрасно: снова увидевшись с другом юности, отразиться с ним вместе в нашей зрелости. В начале вечера он сказал: «Не знаю что, но что-то в тебе изменилось. Думаю, теперь ты стала настоящей женщиной». А в конце: «Я бы не сказал, что ты изменилась к худшему, нет, твои черты, мимика такие же подвижные и выразительные, как прежде, но за всем этим стоит зрелость. Мне с тобой хорошо». Он посветил своим маленьким фонариком мне в лицо, засмеялся и, одобрительно кивнув, сказал: «Да, это ты». И прежде чем мы разошлись в разные стороны, наши щеки неуклюже и все же очень доверчиво коснулись друг друга. Было действительно неописуемо красиво. И пусть это прозвучит парадоксально, но, наверное, это было наше первое удавшееся свидание. Во время прогулки он вдруг сказал: «Я думаю, что спустя годы, быть может, мы сможем стать настоящими друзьями». Вот так ничто не пропадает. Люди возвращаются, а пока они годами не приходят, можно продолжать жить с ними внутренне.

8 марта я написала S.: *«Прежде моя страстность была фактически не чем иным, как отчаянным цеплянием за… за что, собственно говоря? За что-то такое, за что физически зацепиться невозможно»*.

Когда-то это было тело мужчины, шедшего сегодня рядом со мной как брат, за которое я цеплялась с нечеловеческим отчаяньем. И хотя в прошлом мы буквально разрушили наши жизни, было радостно от сохранившегося доверительного, теплого общения, от проникновения в атмосферу друг друга и от не мучивших нас больше воспоминаний. Теперь-то можно совсем спокойно утверждать: да, под конец мы оба были совершенно истощены.

Но все-таки я узнала в нем прежнего Макса, когда он внезапно спросил: «У тебя в то время были отношения еще с кем-

нибудь?» Я показала два пальца. А позже, когда я упомянула, что, возможно, выйду замуж за одного эмигранта, чтобы с ним вместе остаться в лагере, он поморщился. И при прощании сказал: «Ты ведь не сделаешь глупость? Мне так страшно, что ты погибнешь». И я в ответ: «Я никогда и нигде не погибну». Хотела еще что-то сказать, но мы уже слишком удалились друг от друга. Если живешь внутренней жизнью, то, наверное, нет большой разницы, находишься ты внутри или снаружи лагерных стен. Смогу ли я и дальше жить в соответствии с этими словами? Не будем строить больших иллюзий. Жизнь будет очень тяжелой. Думаю, недалеко то время, когда мы будем разлучены с теми, кто нам дорог. Надо уже быть внутренне к этому готовым.

Охотно прочла бы еще раз письма, которые в 19 лет писала Максу. Он сказал: «Я всегда гордился тобой, ждал от тебя толстых книг». Я: «Макс, ты торопишься? Они еще будут. Я умею писать, и мне есть что сказать. Но почему мы такие нетерпеливые?» Он: «Да, я знаю, ты умеешь писать. Время от времени я перечитываю твои письма. Ты действительно умеешь писать».

Утешает, что в этом разорванном мире все-таки еще возможны вот такие вещи. Предполагаю, что их может быть гораздо больше, чем мы сами себе в этом признаемся. Вновь встретить свою юношескую любовь, заглянуть, улыбаясь, в собственное прошлое и примириться с ним. Так и случилось. Сегодня вечером я задала тон, а Макс последовал ему, и это уже большой шаг вперед.

Теперь все уже не кажется случайностью, небольшой игрой, увлекательным приключением. Чувствуешь, есть *«судьба»*, и в ней одно за другим следуют наполненные смыслом события. И когда при этом я думаю о том, как мы, повзрослевшие, растроганные собственным прошлым, шли вместе через темный город, шли с чувством, что мы друг другу еще многое бы рассказали, но оставляем это, наверное, на несколько лет, до нашего следующего свидания, меня охватывает чувство глубокой, истинной благодарности за то, что такое в жизни возможно. Сейчас почти 12, иду спать. Да, это было замечательно. В конце каждого дня у меня возникает потребность повторить: несмотря ни на что, жизнь прекрасна. Безусловно, это мое собственное мнение об этой жизни, мнение, которое я могу даже отстаивать перед другими, а это много значит для такого робкого ребенка, каким я всегда была. И существуют разговоры, как вчера вечером с Яном Полаком, в которых сказанное становится свидетельским показанием.

Вторник [17 марта 1942], 9.30 утра. Вчера вечером, когда

ехала к нему на велосипеде, меня переполняло сильное весеннее томление. И, неожиданно почувствовав ласковое прикосновение теплого, свежего ветра, когда, замечтавшись, проехала по асфальту улицы Лересса, подумала: это тоже хорошо. Разве нельзя испытать сильное, нежное опьянение любовью к весне и ко всем людям? Можно подружиться с зимой, с городом или страной. Помню, как в юношеские годы у меня были особые отношения с одним темно-красным буком. Иногда по вечерам на меня нападало такое желание повидаться с ним, что я отправлялась на велосипеде в получасовой путь и потом ходила вокруг него плененная, заколдованная его кроваво-красным обликом. Да, почему нельзя влюбиться в весну? Весенний воздух так нежно обнимал и ласкал меня, что мужские руки, даже его, в сравнении с этим казались грубыми.

И вот я у него. Из кабинета в маленькую спальню падал луч света, и, войдя, я увидела его расстеленную постель и над ней — тяжело склонившуюся, душистую ветку орхидеи. А на столике около кровати стояли нарциссы, такие желтые, такие невероятно желтые и молодые. Расстеленная постель, орхидеи и нарциссы… в такую постель вовсе не обязательно ложиться. Ненадолго задержавшись в этой сумеречной комнате, я словно пережила долгую ночь любви. А он сидел за своим небольшим письменным столом, и мне опять бросилось в глаза, как сильно его голова напоминает серый, ветхий, древний ландшафт.

Да, знаешь, человеку необходимо терпение. Твое желание должно быть как медленный, величественный корабль, плывущий через бескрайний океан и не ищущий пристани. И вдруг на короткое время он все же ее находит. Вчера вечером он нашел такую гавань. Действительно ли всего четырнадцать дней назад я так дико, несдержанно притянула его к себе, что он прямо упал на меня, а после была настолько несчастна, что подумала, что не смогу жить дальше. И неделю назад, лежа в его объятиях, тоже чувствовала себя несчастной, потому что было это как-то натянуто.

Однако все эти «этапы» были необходимы, чтобы прийти к нежной, доверительной близости, к способности дорожить друг другом. Такой вечер целиком и навсегда остается в памяти. И, наверное, не нужно много таких вечеров, чтобы чувствовать, что жизнь наполнена любовью.

Воскресенье [22 марта 1942], 9 часов вечера. Моя серьезная черная марокканка снова смотрит в цветущий сад, или, скорее, она, как всегда, своим темным, безмятежным и одновременно звериным взглядом смотрит вдаль. Маленькие

желтые, лиловые и белые крокусы, со вчерашнего дня совершенно увядшие, устало и истощенно перевесились через край жестяной коробки из-под шоколада. А вот желтые колокольчики в прозрачном зеленом хрустале. Как же они называются? S. купил их в приливе весеннего настроения. А вчера вечером он пришел с букетиком тюльпанов. Маленький красный бутон и совсем маленький белый, такие закрытые, такие неприступные и все же несказанно милые. Слушая сегодня днем Хуго Вольфа[35], не могла оторвать от них взгляда. За окнами — вызывающе живой и новый в своих очертаниях и в то же время такой давно знакомый Рейксмузей[36].

Мы больше не имеем права гулять по Ванделвег, и любая жалкая группка из двух-трех деревьев рассматривается как лес, и перед ними прибита табличка: «Евреям запрещено». И такие таблички развешиваются повсюду. Но есть еще много места, где можно быть, жить и быть веселым, где можно наслаждаться музыкой и любить друг друга. Гласснер принес с собой мешочек угля, Тидэ — немного дров, S. — сахар и печенье, у меня был чай, а наша маленькая швейцарская артистка, вегетарианка, пришла с большим кексом. Сначала S. почитал нам кое-что о Хуго Вольфе. В отдельных трагических местах его губы подрагивали. И за это я тоже его люблю. Он такой настоящий. Им переживается каждое сказанное, спетое или прочитанное вслух слово. И когда он эмоционально читает о грустном, ему самому становится грустно, и кажется, что он сейчас расплачется. Это так трогательно. Тогда бы и я с удовольствием оплакала с ним вместе какую-нибудь строфу.

И Гласснер, все лучше играющий на рояле. Мне сегодня хотелось крикнуть ему: «Мы следим за твоими успехами, молчаливый, кроткий Гласснер».

Бывают моменты, в которые я, как говорится, на собственной шкуре ощущаю, почему творческие люди, опускаясь, предаются пьянству, разврату и т. д. Чтобы не выпасть в моральном отношении из пазов, чтобы не вогнать себя в бесконечность, художник должен обладать очень сильным характером. Не могу описать точно, но в иные моменты я так это чувствую. Всю свою нежность, свои сильные эмоции, все бушующее море, океан души, назовите как угодно, мне бы хотелось излить в одном-единственном маленьком стихотворении. Но случись такое — полетела бы сломя голову в пропасть и напилась. После творческого взлета, чтобы не провалиться бог знает как глубоко, нужно с помощью своего же сильного характера, морали или уж не знаю чего еще очень крепко ухватиться за себя. Что за темная

энергия движет мной? В самые плодородные, самые творческие моменты я чувствую, как одновременно с этим внутри поднимаются демоны и меня подстерегают сокрушительные, саморазрушающие силы. Это не обычное стремление к другому, к мужчине, нет, это нечто космическое, всеобъемлющее, неудержимое. Но я также чувствую, что даже в такие моменты способна взять себя в руки. Внезапно появляется потребность, опустившись в каком-нибудь тихом углу на колени, собраться и проследить, чтобы мои силы не затерялись в безбрежной бесконечности.

Примерно под вечер я поймала себя на том, что, словно барьером, была остановлена его прозрачным, светло-серым, всю меня объявшим взглядом и тяжелым, дорогим мне ртом. Под этим взглядом я на секундочку почувствовала себя защищенной. Но весь этот день я блуждала в каком-то бесконечном пространстве, где не было никаких сдерживающих границ, чтобы в конце концов дойти до той границы, где бесконечность становится невыносима и ты в отчаянии способен броситься в разврат. А в ясном, прозрачном, весеннем воздухе — темные, раскинувшиеся ветви. Проснувшись утром, я увидела за окном кроны деревьев, а днем, за широкими окнами нижнего этажа — их стволы. Красные и белые бутоны склонившихся друг к другу тюльпанов, благородный рояль, черный, таинственный и сложный, существо в себе, а за окнами — черные ветви на фоне светлого неба, и в отдалении — Рейксмузей. И S., то чужой, то родной, одновременно очень далекий и очень близкий, иногда вдруг страшный древний гном, потом снова добрый большой дядька за пирогом, а потом нежданно-негаданно вновь обольститель с теплым голосом, всегда другой, мой друг и опять же далекий мне человек.

26 апреля 1942. Сейчас это лишь маленькая красная увядшая анемона. Но спустя много лет я найду этот засушенный цветок между страницами книги и с легкой грустью скажу: смотри, эта красная анемона была в моих волосах в тот день, когда тому человеку — самому большому, незабываемому другу моей молодости — исполнилось 55 лет. И было это на третьем году Второй мировой войны. Мы ели макароны, купленные на черном рынке, и пили настоящий кофе, от которого Лизл *«охмелела»*. Мы все были веселы и спрашивали себя, что будет с войной через год, на следующий день рождения. У меня в волосах была красная анемона, и кто-то сказал: «Ты сейчас — настоящая русско-испанская смесь». А один швейцарец, блондин с густыми бровями, добавил: «Русская Кармен», после чего я спросила, не

прочтет ли он с его забавным швейцарским «ppp» стихотворение о Вильгельме Телле.

Потом мы опять прошлись по хорошо знакомым улицам южного Амстердама, но сначала поднялись посмотреть на его цветник. Тем временем Лизл быстро сбегала домой и надела плотно облегающее платье из блестящего темного шелка с просторными прозрачными лазурными рукавами и с такой же лазурью поверх маленькой белой груди. Она мать двоих детей. А такая стройная, хрупкая. И опять же: полна скрытых стихийных сил. И Хан тоже выглядел «элегантным» и предприимчивым, поэтому на его столовой карточке стояло: *вечно молодой любовник, отец героини*. Титул, который, посопротивлявшись, он все-таки принял. Лизл сказала мне позже: *«В этого мужчину я бы могла влюбиться»*.

Но особенный отпечаток, по крайней мере во мне, этот вечер оставил вот почему: было уже примерно половина двенадцатого, Лизл в соседней комнате села к пианино, S. — перед ней на стуле, а я, стоя рядом, прислонилась к нему. Лизл что-то спросила, и мы вдруг оказались посреди дискуссии на психологические темы. Черты лица S. вновь стали очень выразительными, и он живо, с готовностью, которая никогда его не покидает, дал ей ясный, меткими словами выраженный ответ. Позади был долгий день с цветами и письмами, с людьми и беготней, с организацией обеда, на котором он сидел во главе стола, и потом вино, и опять вино, которое он не особенно хорошо переносит. Так что он должен был уже порядочно устать, но тут случайно кто-то задает вопрос о серьезных жизненных вещах, и его лицо становится сосредоточенным, он полностью уходит в это и мог бы уже оказаться за кафедрой перед внимательно слушающим его залом. Взволнованное личико Лизл над прозрачной лазурью смотрит на него большими глазами, и она с присущим ей трогательным заиканием говорит:*«Это так потрясающе, что вы такой»*.

А я еще теснее прижимаюсь к нему, глажу его добрую, выразительную голову и говорю Лизл: «Ты знаешь, это, собственно, и есть самое сильное ощущение, связанное с S. У него всегда есть ответ именно потому, что в нем всегда покой и готовность к ответу. И поэтому проведенные с ним часы всегда полны глубокого смысла, с ним время никогда не расточаешь попусту». А S. взглянул как-то по-детски удивленно, с выражением, которое я все еще не могу описать и для которого уже год постоянно подбираю слова, и сказал: *«Но ведь так происходит с каждым?»* Он поцеловал маленькую Лизл в щеку, в лоб и притянул меня ближе к своим коленям, и я вдруг снова

вспомнила слова Лизл, сказанные ею пару недель назад на ее солнечной крыше: *«Хотела бы несколько дней провести вместе с тобой и S…»*. И я подумала тогда, что это могло бы быть неплохо. В этот момент появилась остальная компания, и мы начали обсуждать, остаться ли нам до четырех утра, но S. сказал: *«Никогда не следует стремиться к крайности, всегда должно что-то оставаться для фантазии»*.

18 мая 1942. Внешняя угроза становится все сильнее, с каждым днем увеличивается террор. Как высокой, темной, защищающей меня стеной, я окружила себя молитвой. Уединившись в ней, точно в монастырской келье, я потом выхожу более *«собранной»*, сильной, вновь овладевшей собой. Уход в закрытую келью молитвы становится для меня все большей реальностью, становится необходимостью. Эта внутренняя концентрация помогает из раздробленного состояния собраться в единое целое и возвратиться к себе. И я представляю, что придут времена, когда я дни напролет буду стоять на коленях, стоять до тех пор, пока не почувствую, что меня опять окружают стены, чья защита не дает мне, потеряв в себя веру, погибнуть.

26 мая [1942], вторник, 9.30 утра. Я шла вдоль набережной под теплым и в то же время освежающим ветром. Проходя мимо сирени, маленьких роз и немецких солдат на посту, мы говорили о нашем будущем и о том, что было бы хорошо остаться вместе. Я совершенно не могу передать, как это вчера было. Когда сквозь теплую ночь я, такая легкая, оглушенная белым итальянским «Кьянти» шла домой, вдруг снова появилась уверенность, которая сейчас, с тех пор как держу ручку, совершенно исчезла. Уверенность в том, что когда-нибудь позже я буду писать. И эти долгие ночи, когда я буду писать, станут моими лучшими ночами. Все, что скопилось во мне, вырвется наружу и тихо, но неудержимо потечет уже никогда не прекращающимся потоком.

Пятница, 29 мая 1942, после ужина. Еще сегодня: Микеланджело и Леонардо. Они тоже занимают часть моей жизни. А еще Достоевский, Рильке и Блаженный Августин. И Евангелисты. Вот в каком прекрасном обществе я нахожусь. И в этом больше нет былого *«эстетства»*. Каждый по-своему передает мне что-то подлинное, непосредственно касающееся меня. Некоторые вещи Микеланджело неожиданно так захватили меня.

«Безмерно, до самоуничтожения предаться своей печали» — легендарная фраза. Этого больше нет. Никогда не позволяю себе, даже в дни наибольшей усталости и кручины, падать так глубоко.

Жизнь остается непрерывным потоком; в наши дни текущим, наверное, медленнее, встречающим большее сопротивление, чем обычно, но все равно текущим дальше. И я не могу больше говорить о себе, как раньше: «я так несчастна, не вижу никакого выхода». Это стало мне совершенно чуждым. Прошло время, когда я надменно считала себя самым несчастным человеком на этом свете.

Господи, в эти неистовые времена зачастую едва возможно постичь, духовно переработать то, что твои подобия на земле причиняют друг другу. Но, оставаясь в своей комнате, Господи, я не прячусь от этого. Мои глаза открыты, я ничего не стремлюсь избежать, я пытаюсь понять и объяснить даже самые ужасные преступления. Я неуклонно продолжаю искать след маленького беззащитного человека, которого в чудовищных руинах его безрассудных действий порой разыскать невозможно. Я не останусь в этой тихой комнате, любуясь цветами, вместе с поэтами и мыслителями прославлять тебя. По правде говоря, это было бы слишком легко. И я вовсе не оторвана от мира, как трогательно утверждают мои добрые друзья. Знаю, у каждого человека — своя реальность, но тем не менее я не какая-нибудь мечтательница, не подросток с *«прекрасной душой»* (Вернер[37] сказал о моем «романе»: *«От прекрасной к большой душе»*). Господи, я смотрю в глаза твоему миру, я не прячусь от него в красивых мечтах, хотя думаю, что рядом с безжалостной правдой есть место и для них. Вопреки всему я продолжаю восхвалять твое творение! Если он в скором времени опять позвонит и своим инквизиторским голосом спросит: *«Ну, как вы там?»*, я с чистым сердцем смогу ответить: *«Вверху — очень хорошо, внизу — очень плохо!»*

Большинство проблем, если их определить, в основном решаются. Быть может, в жизни все по-другому, но по крайней мере в психологии это так. И мне вдруг стало ясно: когда я чувствую себя нездоровой, это очень часто зависит от моих отношений с ним, а когда беспомощной фразой кое-как выражаю это на бумаге, — внезапно немного от него освобождаюсь и с этим отвоеванным кусочком свободы могу снова идти к нему. Таким образом, параллельно протекают оба процесса — приближения друг к другу и все большего освобождения друг от друга. В дни, когда чувствую себя слабой, утомленной, наверное, невольно я крепче цепляюсь за его силу, словно от нее зависит мое спасение. И в то же время его переливающаяся через край энергия выводит меня из строя, ибо я чувствую, что мне не сравниться с ней, и я боюсь не устоять под ее напором. Однако и

та, и другая реакция неверны. Мое исцеление и перерождение должны быть достигнуты моими собственными, а не его силами. В такие моменты вырывающаяся из него мощная жизненная сила раздражает и пугает меня. Наверное, больной человек, находясь рядом с человеком, пышущим здоровьем, часто чувствует свою ущемленность.

Суббота [30 мая 1942], 7.30 утра. Голые стволы, возвышающиеся перед моим окном, покрываются молодой зеленой листвой. Вьющийся покров на обнаженном крепком теле аскета.

Как же это было вчера вечером в моей маленькой спальне? Я рано легла и долго смотрела в большое открытое окно. И было так, будто Жизнь со всеми ее тайнами была совсем рядом, будто я могла прикоснуться к ней, и будто, покоясь на ее обнаженной груди, слушала ее тихое, ровное сердцебиение. Я чувствовала себя такой защищенной в ее руках и думала о том, как же все странно. Война, концентрационные лагеря, все возрастающая жестокость. Проходя по улицам мимо чьих-то домов, я знаю: здесь в тюрьме сын, здесь заложником держат отца, а там оплакивают смертный приговор восемнадцатилетнему сыну. Эти улицы и дома находятся рядом с моим домом. Я знаю, как затравлены люди, знаю об огромном, все умножающемся человеческом горе, знаю о преследованиях и притеснениях, о произволе, страшном садизме и бессильной ненависти. Но зная все это, я продолжаю смотреть в глаза каждому встающему передо мной фрагменту действительности.

И все равно в какой-то незащищенный, мне одной предоставленный момент я лежу на обнаженной груди жизни, и ее руки ласково, бережно обнимают меня, а ее сердцебиение не поддается описанию: такое медленное, размеренное, тихое, почти приглушенное, но и надежное, никогда не прекращающееся, такое доброе и милосердное.

Таково теперь мое жизнеощущение, и я не думаю, что война или какая-нибудь бессмысленная человеческая жестокость в состоянии что-либо в нем изменить.

Четверг [4 июня 1942], 9.30 утра. В такой летний день, как сегодня, чувствуешь себя словно убаюканным множеством ласковых рук. Становишься таким вялым, ленивым, а внутри тебя неизвестно для чего волнуется целый мир. Что я еще хотела сказать: когда он не так давно пел «Липу»[38] (это было столь прекрасно, что я попросила его спеть целый липовый лес), морщины на его лице походили на старинные тропы,

пролегающие через древний, как сам мир, ландшафт.

Недавно, когда мы сидели за угловым столиком у Гайгера[39], между нами промелькнуло тонко очерченное, юное лицо Мюнстербергера, и я ужаснулась тому, какое старое у S. лицо, как будто сквозь него прошла не одна, а множество жизней. И моя, как на мгновенном снимке, отразившаяся реакция: я не хотела бы навсегда связать свою жизнь с его жизнью, это невозможно. По своей сути — пошлая, мелкая реакция. Она основывается на привычных представлениях о браке, супружестве. Ведь моя жизнь и так уже связана, а лучше сказать — соединена с его. И не только жизни, связаны наши души. Согласна, такая формулировка в утренний час может показаться высокопарной, но, наверное, это оттого, что ты еще не вполне *«признаешь»* слово «душа».

И на редкость низко, когда его лицо случайно покажется тебе приятным, думать: мол, да, я бы вышла за него замуж и осталась бы с ним навсегда, а в моменты, когда видишь его старым, таким древним, в особенности если рядом чье-то молодое, свежее лицо, думать — нет, все-таки нет. Есть критерии, от которых тебе нужно навсегда избавиться. Это тот тип реакции, который… да, не могу пока иначе выразить, который препятствует действительно большому, переходящему через все границы условностей и брака чувству единения. И при этом речь идет даже не об условностях, не о браке как таковом, а о тех представлениях, которые о нем сложились.

Просто непозволительно — в один момент из-за определенного выражения лица или еще чего-нибудь подумать: я бы с удовольствием вышла за него, а в следующий — реагировать противоположным образом. Такое действительно не должно происходить, потому что это не имеет ничего общего с теми важными вещами, о которых идет речь. Это опять что-то такое, чего я не в состоянии передать даже приблизительно. Но нужно многое из себя выкорчевать, дабы освободить безгранично широкое пространство для больших настоящих чувств и не перечеркивать их реакциями низшего порядка.

Пятница [5 июня 1942], 19.30. Сегодня днем вместе с Гласснером рассматривала японские гравюры. И вдруг поняла: хочу писать вот так. С таким большим пространством вокруг нескольких слов. Ненавижу многословие. Хочу писать лишь теми словами, которые, органично включая в себя высокое безмолвие, не заглушают, не разрушают его. Слова должны подчеркивать молчание. Как цветущая ветка в нижнем углу на японской гравюре. Пара легких штрихов, но как переданы мельчайшие детали! А вокруг — большое пространство, но не пустое,

одушевленное. Не выношу нагромождения слов. О жизненно важных вещах можно сказать несколькими словами. Если я когда-нибудь буду писать (что, собственно?), хотелось бы на безмолвном фоне набросать всего несколько слов. Но труднее, чем найти те самые слова, будет передать тишину и молчание, одушевить их. Я имею в виду точное соотношение слов и безмолвия; безмолвия, в котором происходит больше, чем во всех связанных друг с другом словах.

И в каждом рассказе, или что это будет, тихий фон, как на японских гравюрах, должен звучать иначе и передавать другое содержание. Речь ведь идет не о неопределенном, непостижимом молчании, молчание тоже должно иметь четкие контуры и свои собственные формы. И поэтому слова должны служить только точной передаче формы и очертаний молчания. Каждое слово — как веха или холмик вдоль бесконечных дорог просторной равнины. Это уже по-настоящему странно: я могла бы написать целую главу о том, как, собственно, хотела бы писать, и при этом, вполне возможно, кроме этого рецепта, никогда не напишу и буквы. Но японские картины вдруг наглядно показали мне, как я хотела бы это делать. Вот бы побродить когда-нибудь по японским ландшафтам, чтобы еще лучше осознать это. Вообще-то я думаю, что когда-нибудь, позже, отправлюсь на Восток, чтобы там в каждодневной жизни найти для себя то, что здесь можно по ошибке вообразить неверно.

9 июня [1942], вторник, половина 11-го вечера. Сегодня во время завтрака — более или менее подробные новости о ситуации в еврейском квартале. Восемь человек в одной маленькой комнате, со всеми связанными с этим неудобствами. Все это еще трудно охватить, постичь, и едва ли можно себе представить, что все происходящее на соседней улице — твое собственное будущее. И сегодня вечером, во время короткой прогулки (от наших швейцарских вегетарианцев к его растущей во все стороны герани), я вдруг спросила его: «Скажи, что делать с чувством вины, охватывающим меня, когда я слышу, что восемь человек должны жить в тесном помещении, в то время как у меня, одной, — большая светлая комната?» Он бросил на меня искоса свой, несомненно, несколько дьявольский взгляд и сказал: «Здесь две возможности: либо ты выезжаешь из квартиры (при этом он с выражением „я прямо вижу, как ты уже это делаешь“ иронично, испытующе посмотрел на меня), либо ты должна выяснить, что скрывается за этим чувством вины. Может быть, ты просто недостаточно работаешь?» И тут мне все стало ясно и я сказала: «Да, видишь ли, во время работы я всегда витаю в высоких

духовных сферах, а когда слышу о таких бесчинствах, у меня наверняка несознательно или, наоборот, осознанно, как сейчас, возникает вопрос: смогла бы я продолжать с той же убежденностью и отдачей работать, живи я в грязной комнате с восьмью голодными людьми?» Потому что эта духовная работа, эта интенсивная внутренняя жизнь только тогда имеет ценность, когда продолжается невзирая на внешние обстоятельства. И если невозможно продолжать ее на деле, в поступках, — то хотя бы внутренне, мысленно. Иначе все, что я сейчас делаю, это всего лишь *«эстетство»*. И, наверное, на короткое время меня это парализует (прежде что-то в этом роде держало меня неделями, но тогда, вероятно, я еще не верила в необходимость этой работы). Страх: останусь ли я той же в подобных обстоятельствах. Сомнение: выдержу ли я такие испытания. Обоснованность вот такого моего существования я должна еще только доказать. Все равно мне придется жить так, как живу, ибо не гожусь ни в социальные работники, ни в политические деятели, и даже если мое чувство вины гонит меня в этом направлении, такие мысли возникать не должны.

Естественно, всего этого во время короткой прогулки я ему не говорила. Сказала только: «Наверное, я боюсь не выдержать испытания».

И он, очень серьезно, очень *«спокойно»*: «Это испытание для всех нас еще только начинается». А потом он купил пять маленьких бутонов роз, сунул их мне в руку и сказал: *«Вы никогда не ждете чего-либо от внешнего мира, и за это всегда что-нибудь получаете»*.

Среда [10 июня 1942] утро, половина восьмого. Он такой увлекательный, такой пылкий — мой Августин-натощак. Хоть простуда и не выводит меня больше из равновесия, но приятным это тоже не назовешь.

Доброе утро, мой неубранный письменный стол. Пять свежих бутонов роз неряшливо обвивает тряпка для пыли, а *«О Боге»* Рильке наполовину погребено под *«Русским для коммерсантов»*. В углу лежит заброшенный анархист Кропоткин, ему здесь больше нечего делать. Сняла эту книгу с пыльной полки в моей комнате, чтобы еще раз прочесть о его первых впечатлениях от тюремной камеры, в которой он провел несколько лет. Описание его первого знакомства с ней можно перевести и, спроецировав на себя, применять как притчу о том, каковы должны быть наши реакции на все большие ограничения нашего жизненного пространства. И исходя из оставленного нам пространства, будь оно самым маленьким, познать его возможности и превратить их в свою

маленькую действительность.

«Я сказал себе, что прежде всего должен сохранить крепкую физическую форму, чтобы не заболеть. Представляю, что мне предстоит несколько лет провести в экспедиции на Северный полюс. Буду, насколько это возможно, физически подвижен, буду делать гимнастику и не дам окружающей среде подорвать себя. Десять шагов от одного конца камеры до другого, повторенные 150 раз, дают в итоге одну версту. Буду ежедневно проходить семь верст, то есть примерно пять миль. Две версты утром, две перед обедом, две после и одну перед сном»[40].

Этот час до завтрака — что-то вроде вида с балкона, вроде платформы для всего моего дня. Вокруг меня такая тишина, хоть у соседей и включено радио, а позади меня тихонечко похрапывает Хан. Ни спешки, ни суеты.

Бывает, когда, глубоко погрузившись в происходящее во мне, я медленно еду по улицам на велосипеде, — чувствую, как настойчиво, как уверенно во мне зарождается бурная экспрессия. Потом же меня прямо поражает, что каждое записанное мною предложение настолько беспомощно и так слабо стоит на ногах. Временами слова во мне движутся так уверенно и убедительно, что создается впечатление, словно они могут выйти из меня и так же уверенно продолжить свое движение на любом куске бумаги. Но похоже, до этого еще далеко. Порой спрашиваю себя, не слишком ли моя фантазия предается своей собственной игре и достаточно ли я иду ей навстречу, чтобы заставить ее приобрести форму. Но это отнюдь не одичавшие, необузданные фантазии. Во мне в самом деле формируются вещи со все более четкими очертаниями, во все более концентрированной, ясной форме. И все же я не понимаю, каким образом это происходит. Иногда это похоже на большую, расположившуюся во мне мастерскую, в которой все с большим трудом обрабатывается, выдалбливается. А иногда кажется, что я внутри сделана из гранита, что я каменная глыба, на которую постоянно обрушивается огромная масса обтачивающей ее воды. Гранитная скала с высеченными на ней контурами и формами. И может быть, в один прекрасный день эти совершенно готовые формы с их резкими очертаниями появятся здесь, и мне нужно будет лишь описать то, что я в себе обнаружила. Не чересчур ли упрощенно представляю я себе это? Не слишком ли полагаюсь на то, что все сделается само собой? Всю свою серьезность, все внимание во имя себя же самой я призываю присутствовать при этой работе. Но они в мастерской будут только в качестве моих посланников, они, не оказывая

никакого активного вмешательства, будут только наблюдать.

Пятница [12 июня 1942]. А теперь, судя по всему, хотят добиться, чтобы евреи не имели больше права переступать порог овощных магазинов, чтобы они сдали свои велосипеды, не пользовались трамваями и после 8 часов вечера не выходили из дому.

Когда из-за таких мер я, как сегодня утром, чувствую себя угнетенной, словно придушенной свинцовой тяжестью, — дело не в самих постановлениях. Это говорит во мне глубокая печаль, ищущая повод для самооправдания.

Если мне предстоит дать неприятный урок, это внушает такой же страх и подавленность, как худшие предписания наших оккупационных властей. Это никогда не связано с внешними обстоятельствами, это всегда внутренние чувства. Подавленность, неуверенность или что угодно другое, придающее внешним обстоятельствам печальный или угрожающий вид. У меня всегда все действует изнутри наружу, и никогда — в обратном порядке. Самые грозные предписания, а их предостаточно, большей частью разбиваются о мою внутреннюю стойкость и веру и, если я их внутренне переработала, — теряют многое из своих устрашающих свойств.

И я постараюсь справиться с этой простудой, с недомоганием, пожирающими мою энергию и желание работать. Надо наконец отделаться от мысли, что только потому, что я так сильно страдаю от холода, простуды, заложенного носа, имею право хуже работать. Я бы сказала, ровно наоборот, хотя и здесь не нужно ни к чему себя принуждать. Из-за все ухудшающегося питания мы оказываем холоду все меньшее сопротивление, во всяком случае, со мной происходит именно так. А зима еще впереди. И тем не менее надо продолжать жить и оставаться продуктивным. Думаю, уже сейчас необходимо готовиться к этому снижению физической работоспособности, чтобы каждый раз оно как неожиданно возникшее внешнее препятствие не парализовало меня на короткое или продолжительное время. Нужно, так сказать, акклиматизироваться, приспособить это препятствие к своему ежедневному состоянию, к себе самой, владеть им, чтобы оно больше не досаждало. И чтобы впредь оно не выступало тормозящим фактором, каждый раз отнимающим у меня много времени и сил, а стало внутренне переработанным явлением, на которое не нужно больше обращать внимания. Сформулировано ужасно беспомощно, однако сама я очень точно знаю, что имею в виду.

Суббота [13 июня 1942], утро. Такая уставшая, подавленная, дряхлая, как старая дева. И унылая, как моросящий на улице холодный дождь. И такая слабая. Но если ты до того сонная, что едва в состоянии открыть глаза, тогда тебе не следует до часа ночи читать в ванной комнате. Конечно, дело не только в этом. Растущие неудовлетворенность и усталость. Может быть, все-таки только физическая? Такое множество осколков собственного «я», преграждающих путь к открытым просторам. С корнем вырвать, уничтожить это ограниченное «я», стремящееся лишь удовлетворить потребности тех, других, в высшей степени неразвитых «я».

Чем утомленней, чем слабее я себя чувствую, тем больше меня приводят в смятение его силы и любовь, которая всегда и для всех у него наготове. Меня прямо-таки охватывает ужас оттого, что у него в эти дни еще остается так много сил. В любой момент тебя могут отправить в какой-нибудь барак в Дренте, а на овощных магазинах висят таблички: «Евреям запрещено». Для обычного человека этого было бы достаточно. Он же, напротив, ежедневно принимает по шесть пациентов, часами интенсивно с ними работает, вскрывая, чтобы вышел гной, их раны. Он открывает источники, в которых у многих не ведающих об этом людей скрывается Бог. Он работает с ними долго, до тех пор, пока в их очерствевших душах снова не начинают струиться воды. На его столике штабелями складываются исповеди, и почти каждая заканчивается словами: «О, помогите же мне». И он каждому помогает. Вчера вечером в ванной комнате я прочла об одном священнике следующее: *«Он был посредником между Богом и людьми. Ничто будничное не касалось его. И именно поэтому он так хорошо понимал трудности каждого человека, находящегося в процессе становления»*.

Бывают дни, из которых я как бы выпадаю из-за усталости или чего-то еще, и тогда мне хочется, чтобы все его внимание и любовь существовали для меня одной. Тогда я — ничего более, чем одно страшно ограниченное «я», и все пролегающие во мне космические дали перекрыты. И естественно, я лишаюсь контакта с ним. Тогда мне хочется, чтобы он тоже был таким же ограниченным «я» и существовал только для меня. Очень понятное женское желание. Но я уже проделала немалый путь, чтобы отойти от этого собственного «я», и буду продолжать идти этой дорогой, на которой случаются также и спады. Раньше я, бывало, спонтанно записывала: «Я его так люблю, так бесконечно люблю». Теперь это чувство ушло. Наверное, поэтому мне так тяжело, грустно, поэтому чувствую себя опустошенной. Молиться в последние дни тоже не получается. Сама себе противна. Эти три

вещи, вероятно, связаны между собой. И тогда я сразу становлюсь упрямой, как осел на скалистой тропе, которого не сдвинешь с места. Когда мое чувство к нему мертво и нет ни сил, ни пространства для того, чтобы оживить его в себе, я задаюсь вопросом: «Разве он тоже бросил меня? Отвернулся от меня, потому что его силы расходуются на многих других, ежедневно нуждающихся в нем людей?» Этти, меня от тебя воротит. Как же это эгоцентрично и мелко. Вместо того чтобы своей любовью, участием помочь ему, ты, как ноющий ребенок, спрашиваешь, уделяет ли он тебе тоже достаточно внимания. Это твоя бабья сущность, требующая все внимание и любовь для себя одной. Только что короткий, деловой, бесцветный телефонный разговор с ним. Думаю, какую-то роль играет то, что я *вгоняю* себя в так называемое чувство трагедии. Не только чувствовать себя несчастной, но хотеть это чувствовать все больше. Загнать драматическую ситуацию на самую вершину и потом с наслаждением страдать. Остатки моего мазохизма? И никакого толку, когда в «верхних слоях» — все благоразумно, по-взрослому, в то время как в «нижних» — не искоренено ядовито разросшееся растение. Он бы, наверное, громко смеялся, если бы узнал о моих фантазиях по поводу «умерших чувств». Рассудительно успокаивающе, серьезно сказал бы: «Любые отношения временами претерпевают кризис, который проходит, и все снова становится хорошо».

Я опять воспринимаю такие моменты слишком абсолютно. Но чувствовать себя несчастной в то время, когда силы истощены только потому, что несколько ослабела интенсивность в отношениях между тобой и одним мужчиной, — с твоей стороны ужасно нелепо. Ты, которой не надо часами стоять в очередях. На столе, благодаря заботам Кэте, каждый день еда, а по утрам тебя приветливо ожидает письменный стол с книгами. И человек, для тебя важнейший в жизни, живет в нескольких улицах от тебя, и его еще не забрали. Лучше б ты выспалась. Тебе должно быть очень стыдно. Разберись до конца с самой собой и не мучай своим раздражением других. И не предавайся вот так настроению, мгновению, хоть и сонному мгновению, не теряй из виду главное. Будь грустной просто и честно, но не делай из этого драму. И в печали человек должен быть прост, иначе это не что иное, как истерика. Тебе бы запереться в голой келье и пробыть там в одиночестве до тех пор, пока снова не придешь в себя, пока не улягутся все страсти.

19 июня [1942], пятница, 9.30 утра. Знаешь, моя дорогая, что мне в тебе противно? Твои полуискренность и

полунапыщенность. Вчера вечером хотела написать еще пару слов, однако получался всего лишь расплывчатый вздор. Порой бывает страшно называть вещи своими именами. Может, так оттого, что после этого ничего больше не остается? Вещи должны выдерживать точность данного им имени. Если же они этого не выдерживают, они не имеют права на существование. Многое в жизни мы пытаемся спасти с помощью некой сомнительной мистики. Мистика же, после того как все вещи будут исследованы вплоть до голой реальности, должна основываться на кристальной честности.

Вечером, когда я возвращаюсь домой, мне (почти всегда) кажется, что я испытала потрясающие вещи, и мне тут же хочется быстро найти для них бессмертную формулировку. Но это не так-то просто. Все пережитое, на худой конец, можно было бы записать и простыми, беспомощными словами, ведь это же только дневник, но мне хочется же из своих простейших переживаний сразу выжать афоризмы и вечные истины. Меньшее меня явно не устраивает. С этого места уже начинаются расплывчатость и обобщения. Я нахожу ниже своего интеллектуального достоинства что-либо писать о своем животе (какое на редкость неуклюжее, грубое наименование для этой значительнейшей части тела). Если я хочу описать свое настроение вчерашнего вечера, тогда мне следует честно, объективно признать, что это был день перед месячными, а в это время я только наполовину вменяема. Если бы Хан не отправил меня в половине первого в постель, я бы до сих пор сидела за письменным столом. И думаю, что в данном случае дело не в истинно творческом моменте, а в мнимом. Ибо во мне все восстает и приходит в движение. А потом меня охватывает какое-то беспокойство, рассеянность, иногда даже легкомыслие, для которого нет никакой другой причины, кроме женской — к сожалению, повторяющийся каждые три недели процесс на юге от моей диафрагмы. Этим объясняются также и другие мои реакции вчерашнего дня.

«В скором будущем у нас на книгах будут жирные пятна, а на хлебе — чернильные кляксы, — говорит папа Хан, — с тебя станется». Семья еще обедает. Я отодвинула свою тарелку в сторону и посреди редких земляник и странного салата для кроликов, что мы едим, пишу о Рильке… А сейчас комната опустела, и я в окружении крошек на скатерти — одна, еще есть одинокие редиски и грязные салфетки. Кэте на кухне моет посуду. Половина второго. Я только посплю часок, пока не успокоится сильная боль в животе. В пять придет какой-то

человек от Беккера, который, кажется, хочет брать уроки русского языка. Сегодня вечером еще час почитаю Пушкина. Мне не нужно стоять в очередях и почти не надо заниматься домашним хозяйством. Думаю, вряд ли, кроме меня, в Голландии найдется человек, живущий в таких благоприятных условиях. Так, по меньшей мере, это видится мне. Все это время чувствую на себе тяжесть обязательств, которые я, необремененная повседневными заботами, используя каждую минуту, должна хорошо выполнять. А я каждый день сталкиваюсь с тем, что работаю недостаточно сконцентрированно и интенсивно. У меня есть настоящие обязательства, моральные обязательства.

Суббота [20 июня 1942], 12.30 ночи. Для унижения необходимы два человека. Тот, кто унижает, и тот, кого хотят унизить, или кто, прежде всего, позволяет это. Если последнего нет, — значит пассивная сторона не восприимчива к любым формам унижения, и тогда они попросту испаряются в воздухе. Остаются только надоедливые распоряжения, затрагивающие повседневную жизнь, но это не угнетающее душу притеснение. Евреям надо в себе это воспитывать. Сегодня утром, проезжая на велосипеде по Стадионной набережной, я наслаждалась просторным небом над городом и вдыхала свежий, не выдаваемый по карточкам воздух. И везде на фоне природы — таблички, преграждающие евреям дорогу. Но и над единственной дорогой, оставленной нам, распахнуто целое небо. Ничто не может причинить нам вред, действительно ничто. Можно создать нам трудности, можно ограбить, лишив материальных благ и свободы движения, но в итоге мы собственными неверными представлениями сами лишаем себя наших лучших сил, из-за того, что чувствуем себя преследуемыми, униженными, угнетенными. Из-за нашей ненависти. Из-за нашего важного вида, за которым прячется страх. Можно от всего причиняемого нам быть иногда подавленным, печальным, это по-человечески, это понятно. И все же самый крупный грабеж у себя мы совершаем сами. Я нахожу жизнь прекрасной и чувствую себя свободной. Небо внутри меня простирается точно так, как надо мной. Я верю в Бога, верю в людей и осмеливаюсь говорить это без ложного стыда. Жизнь тяжела, но это неплохо. Нужно начать принимать себя всерьез, а остальное придет само. И «работать над собой», право же, это не болезненный индивидуализм. Настоящий мир сможет восстановиться только тогда, когда каждый индивидуум найдет его в себе, когда вырвет из себя с корнем, победит ненависть к окружающим, какой бы расы или народности они ни были, и превратит это во что-то, что не будет больше ненавистью,

а со временем, может быть, сможет стать даже любовью. Или это слишком большие требования? И все же это единственное решение.

Я могла бы продолжать в таком духе на многих страницах. Но кусочек вечности, что несешь в себе, можно выразить единственным словом точно так, как обсуждать это в десятках толстых научных трудов. Я счастливый человек и восхваляю эту жизнь, да, именно так, в 1942 году господнем, на энном году войны.

Воскресенье [21 июня 1942], 8 часов утра. Около меня стоит мой завтрак: стакан простокваши, два куска серого хлеба с маслом, огурец и помидор. От какао, которое в воскресное утро тайком всегда позволяла себе, я отказалась. Хочу довольствоваться этим монашеским завтраком, потому что это мне на пользу. Вот так я искореняю свои «пристрастия» в самых потаенных областях. Так лучше. Нам надо учиться все большей независимости от физических потребностей, превышающих самое необходимое. Мы должны приучить свое тело к тому, чтобы оно не требовало от нас больше, чем ему необходимо. Прежде всего в питании, ибо похоже, что в этом отношении у нас наступят тяжелые времена. Нет, не наступят, они уже наступили. И все-таки я считаю, что у нас все еще удивительно хорошо. Но во время относительного изобилия легче готовить, добровольно готовить себя к воздержанию, чем когда к этому начнут принуждать тебя скудные времена. То, чего человек добился добровольно, по собственному побуждению, устойчивее и прочнее, чем то, чего он достиг под нажимом. (Мне вспоминается профессор Беккер и его пачка маленьких окурков.) Мы должны стать такими независимыми от материальных, от внешних вещей, чтобы наш дух продолжал следовать своим путем и делал свою работу при любых обстоятельствах. И потому — никакого шоколада, только простокваша. Вот так!

Что же делают здесь, на моем письменном столе, эти многочисленные вещи? Герань, которую Тидэ после тех вдруг грянувших слез дала мне на прошлой неделе (всего одну неделю назад), стоит еще здесь. И сосновые шишки. Помню, когда я их собирала. Это было на лугу, прямо за дачей г-жи Рюмке. Кажется, это был первый раз, когда я на природе провела с ним весь день. Мы разговаривали о демоническом и недемоническом. Да, теперь нам долго не видать природы, что я иногда ощущаю как нечто угнетающее и обедняющее, но большей частью знаю: даже если останется всего лишь одна узкая улица, по которой мы будем иметь право ходить, над ней будет все небо. И три сосновые

шишки, если это должно произойти, поедут со мной в Польшу. Боже мой, этот стол напоминает мир в первый день его сотворения. Кроме экзотических японских лилий, герани, увядших чайных роз, сосновых шишек, ставших святой реликвией, и марокканской девочки с одновременно веселым и звериным взглядом, здесь собрались еще Блаженный Августин и Библия, русская грамматика и словарь, Рильке и бесчисленные блокнотики, бутылка лимонада, пишущая машинка, копировальная бумага и опять Рильке, собрание сочинений, н-да, и Юнг. И все это так случайно забрело сюда.

Вторник [23 июня 1942], 8.30 утра. Пару дней назад меня посетили мстительные, несправедливые мысли, а сегодня утром, в постели, я вслух посмеялась над этим инфантильным безумием. В то время как его постель была уже расстелена, я стояла у комода перед неподвижным, застывшим в улыбке лицом Герты. Стояла у двери и собиралась попрощаться. Одним глазом я косилась на неизменную для меня вот уже шестнадцать месяцев улыбку, а другим — на раскрытую постель, и дерзко, печально и в то же самое время одиноко подумала: «Да, эта пестрая постель здесь для этой ужасно скучной барышни с ее безжизненной улыбкой». Прочти он эти полные обиды бабьи излияния, смеялся бы, наверное, так, что стены дрожали бы. Бедная Герта, как я несправедлива к тебе. Порой в моей голове проносится вопрос о том, как ты там, в Лондоне, живешь. Об этом я спрашиваю себя, когда на велосипеде сворачиваю на его тихую улицу и издалека вижу в окне склоненную фигуру и его нетерпеливо машущую мне руку. Потом он перегибается через раскидистую герань, цветущую перед его окном, а я бегу по ступеням к двери, которую он часто открывает заранее, и, запыхавшись, влетаю в его маленькую комнату. Иногда он стоит в центре и выглядит сильным, внушительным, будто высеченным из серой скалы, появившейся уже на третий день сотворения мира. А иногда он вообще не внушительный, а добродушный и как медведь неуклюжий и милый, такой милый, что я никогда бы не подумала, что мужчина может быть таким, не становясь при этом скучным или женственным. Случается, мысль преобразует черты его лица, которые натягиваются, как парус на ветру, и он говорит: *«Послушайте-ка…»*, и тут следует нечто такое, что в большинстве случаев мне что-то открывает, чему-то учит. И всегда его большие, добрые руки — непрерывные проводники тепла и нежности, идущих не из тела, из души. Бедная Герта там, в Лондоне. Из того, что в твоей и моей жизни общее, на мою долю выпала большая часть. Позже я смогу тебе многое рассказать о

нем. В муках я учусь принимать, что его любовь должна быть разделена со всем миром, с целым космосом. Но благодаря этому и сам получаешь доступ к космосу. Однако цена входного билета высока, и нужно долго, кровью и слезами копить на него. Но ни страдания, ни слезы не будут слишком большой платой. И ты, Герта, должна будешь начать с самого начала. Если наступит это время, я, как одержимая, буду ездить по всему свету, потому что, все же не полностью растворившись в космосе, во мне всегда будет оставаться частичка маленькой женщины.

Тебе, наверное, придется пройти путь, подобный тому, который прошла я, ибо этот человек настолько пропитан вечностью, что он вряд ли изменится. И я думаю, что у нас с тобой должно быть много общего, иначе как бы возникла дружба между ним и мною? Наверняка ты более робкая и менее общительная, чем я сейчас. Ты более уравновешенная, в то время как я могу казаться немного взбалмошной. С твоим физическим появлением в нашей жизни начнется мое отречение. Он счел бы эти слова глупостью, так как имеющегося в нем изобилия чувств хватило бы больше чем на одного человека, и никто рядом с ним не был бы обделенным. Но мы, женщины, созданы такими странными. Твоя и моя жизни часто пересекаются. Какими они будут позже, в действительности? Если мы вправду должны будем встретиться, пообещаем же друг другу заранее при любых обстоятельствах быть приветливыми. Тогда бы это значило, что история продолжается, что она позволяет нам вольно дышать и жить. Огромные общие испытания всего происходящего должны положить конец всякому антагонизму между отдельными людьми. Не бываешь ли ты временами там, по другую сторону Канала, в отчаянии? Конечно, я ведь знакома с твоими письмами. Ты, маленькая девочка, в большом городе под бомбами все это должна выдерживать одна. Как тебе это удается? Я восхищаюсь тобой и должна была бы когда-нибудь начать бесконечно сочувствовать тебе.

В Амстердаме живет одна женщина, которая каждый вечер молится за тебя, что очень великодушно с ее стороны, так как кроме Господа она любит только его. Любит первой и последней любовью в ее жизни. Я рада, что кто-то за тебя молится. Благодаря этому твоя жизнь защищена больше. Я же на такое пока не способна. На самом деле я не взрослая, быть может, за исключением отдельных просветленных мгновений, но обычно во мне уживаются все пороки, затрудняющие человеку путешествие на небеса. Ревнива, с мещанскими предубеждениями и с чем только еще хочешь. К счастью, мне известно, что в жизни главное, и, возможно, однажды наступит вечер, когда, освободившись от

всех мелких подспудных мыслей и ревности, я помолюсь за тебя. А ты этим вечером неожиданно почувствуешь радость жизни, примиришься с ней, как этого давно уже не было, и не будешь знать, откуда пришло это чувство. Но пока что я далека от этого. А сейчас мне надо поработать. Что ты делаешь в этот момент? Твоя ежедневная борьба за существование настолько тяжелее моей, что я должна была бы по отношению к тебе испытывать чувство вины, как и по отношению ко всем, кто должен биться за свое пропитание, стоять в очередях и т. д. Это возлагает на меня большие моральные обязательства и ответственность.

Мое главное занятие — изучение русского языка и той большой, дорогой мне страны, где говорят на этом языке. В тот день, когда твоя нога ступит на эту землю, я слепо помчусь на вокзал и куплю билет, который отвезет меня прямо в сердце той страны. Как тебе такой инфантильный романтизм ранним утром? В такое время, как это? Да, мне стыдно, но это правда, такое иногда происходит в моей фантазии. Ах, Герта, если бы ты только знала, под какой угрозой находится здесь наша жизнь. В это солнечное утро я так простодушно пишу «нога ступит на эту землю» и «встретимся друг с другом», но, может быть, до того времени мы давно сгинем в каком-нибудь суровом холодном лагере. Здесь день ото дня усиливается угроза нашей жизни, и чем это все закончится, мы не знаем.

Четверг [25 июня 1942], вторая половина дня. Из письма моего отца с его неподражаемым юмором:

«Сегодня наступила безвелосипедная эпоха. Мишин — я доставил лично. В Амстердаме, как я прочел в газете, евреи еще имеют право ездить на велосипеде. Что за привилегия! Теперь нам не нужно бояться, что велосипеды могут украсть. Для наших нервов это замечательно. В свое время мы сорок лет в пустыне тоже обходились без велосипедов».

27 июня [1942], суббота, 8.30 утра. Со многими в одной тесной камере. Разве не это наша миссия — посреди дурных испарений человеческих тел «сохранить аромат наших душ»?

Вчера на нашем музыкальном вечере, после четырехручной пьесы Шуберта и последующей Моцарта, S. сказал: *«Шуберт наводит меня на мысли об ограниченных возможностях фортепиано, а Моцарт — о его достоинствах»*.

И Миша, медля в поиске слов, но потрясающе метко: *«Да, чтобы создать музыку, Шуберт в этом произведении злоупотребил инструментом»*.

В конце вечера я еще немного прошлась с ним по набережной. Меня вдруг охватило чувство быстро приближающегося прощания, и я сказала: «…Наверное, у нас вообще больше нет будущего…». На что он ответил так: «Да, если „будущее“ понимать в материалистическом смысле, то да…».

«Без кофе и сигарет жить можно, — возмущенно сказала Лизл, — но без природы — нет, это невозможно, ее отбирать не смеют ни у кого». Я: «А ты представь себе, что мы должны были бы отсидеть несколько лет тюрьмы, и воспринимай пару деревьев напротив как лес. И в тюрьме у нас все же будет еще относительная свобода движений».

Лизл. Временами она выглядит как маленький эльф, купающийся теплой летней ночью в лунном свете. Но она три часа в день чистит шпинат и чуть ли не до потери сознания стоит в очереди за картофелем. А иногда из глубины ее маленького тела, слегка сотрясая его, вырывается короткий вздох. В ней — застенчивость и большая чистота, хотя факты ее жизни отнюдь не целомудренны. В то же время в ней есть что-то крепкое, исконно природное. Короткие приступы подавленности у нее бывали недолгими, преходящими. И она бы очень удивилась, если бы узнала, что я здесь пишу о том, что фактически она мой единственный настоящий друг среди женщин.

Понедельник [29 июня 1942], 10 часов утра. Не Бог должен отчитываться перед нами, а мы перед ним. Знаю, что еще может нас ожидать. Я живу сейчас отдельно от родителей и не могу к ним добраться, хотя между нами всего два часа езды. Но все же я пока знаю, в каком доме они живут, знаю, что они не страдают от голода и что их окружает много доброжелательных людей. И точно так же они знают, где нахожусь я. Но придет время, когда я не буду знать, где они, а буду только знать, что они были депортированы и где-то в нищете погибли. Я знаю, что такое возможно. По последним сообщениям, все евреи из Голландии должны быть депортированы через Дренте в Польшу. Английское радио объявило, что с апреля прошедшего года в Германии и на оккупированных территориях были уничтожены 700 000 евреев. И если случится, что мы выживем, останется так много ран, которые мы должны будем нести в себе всю оставшуюся жизнь. И, не считая, что жизнь бессмысленна, я, Господи, все-таки ничего не могу сделать. Бог не несет перед нами ответственности за то безумие, что мы сами творим. Мы несем перед ним ответственность! Я уже тысячу раз умерла в тысяче концентрационных лагерей. Знаю обо всем, и новые

сообщения больше не беспокоят меня. Так или иначе мне все известно. И тем не менее я считаю, что жизнь прекрасна и полна смысла. Каждую отдельную минуту.

1 июля [1942], утро. Мой дух уже переработал новости последних дней — до сих пор слухи страшнее фактов, по меньшей мере фактов, касающихся нас, так как в Польше бойня, кажется, идет полным ходом, — но мое тело, очевидно, еще нет. Оно будто раздроблено на тысячи кусков, и каждый болит по-своему. Удивительно, как оно вдогонку, задним числом перерабатывает эти вещи.

Как часто, еще меньше года назад, я молилась: О Господи, дай же мне стать немного проще. И если этот год мне что-то принес, то это большую внутреннюю простоту. И я верю, что позже о сложнейших жизненных вещах я смогу сказать совсем простыми словами. Позже.

Сейчас физически так разбита, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, не могу соображать. Уже около часа дня. После кофе попытаюсь немного поспать, а без четверти пять — S. Иногда мой день состоит из сотни дней. Сейчас я полностью обессилена. Сегодня в семь утра после всех новых постановлений во мне поднялся целый ад беспокойства и волнений, и это хорошо. Благодаря этому я могу немного прочувствовать страх других, так как для меня самой он все больше становится чуждым. В восемь я снова была само спокойствие. И была чуть ли не горда тем, что в разбитом состоянии смогла провести полуторачасовой урок русского. Раньше я бы, сославшись на плохое самочувствие, по телефону отменила бы урок. А сегодня вечером — снова новый день, потом придет одна девочка, католичка, у которой возникли трудности. В настоящее время, когда еврей может помочь не еврею, появляется особенное чувство силы.

Вторая половина дня, 16.15. На веранде солнце, и сквозь жасмин дует легкий ветер. Видишь, снова начался новый день, который по счету с семи утра? Побуду еще десять минут с жасмином, а потом на позволенном нам пока велосипеде — к моему другу, который за последние шестнадцать месяцев стал частью моей жизни, хотя мне кажется, будто я знаю его тысячу лет, и который иногда вдруг кажется мне таким новым, что у меня от удивления останавливается дыхание. Какой странный этот жасмин. Стоит здесь, посреди серых, грязных сумерек такой

сияющий, хрупкий. Не понимаю его. И не надо понимать. Можно и в этом, 20 столетии еще верить в чудо. А я верю в Бога, даже если в скором будущем меня в Польше сожрут вши.

2 июля [1942]. Страдание не умаляет человеческого достоинства. Этим я хочу сказать, что страдать можно с достоинством и без. Мне кажется, что большинство людей Запада не понимают искусства страдания и испытывают перед ним огромный страх. Это же не жизнь, как живет большинство: в страхе, разочаровании, горечи, ненависти, отчаянии. Боже мой, это ведь так понятно. Но если отобрать у них жизнь, так ли много будет отнято? Смерть нужно принимать как часть жизни, и страшнейшую смерть тоже. Разве мы не переживаем каждый день целую жизнь, и многое ли решает, прожить несколькими днями больше или меньше? Я каждый день нахожусь в Польше, можно сказать, на поле битвы, порой — навязчивое видение ядовито-зеленого поля битвы. Каждый день я там — у голодающих, истязаемых, умирающих. Но я и здесь — у жасмина и кусочка неба за моим окном. В одной-единственной жизни для всего есть место, и для веры в Бога, и для жалкой гибели.

И нужно иметь силы страдать в одиночку, не нагружая других своими страхами и заботами. Этому мы должны еще учиться и призывать к этому друг друга, и если не получается мягко — тогда строго. Когда я говорю, что тем или другим образом свожу счеты с жизнью, это не означает мою покорность судьбе. *«За всем высказанным — недопонимание»*. Когда я что-то говорю, другой воспринимает это иначе, чем я имела в виду. Нет, это определенно не покорность. Что же я под этим подразумеваю? Может быть, то, что я уже тысячекратно прожила эту жизнь и столько же раз умирала и что ничего нового больше не будет?

Разновидность пресыщенности? Нет. Это от минуты к минуте тысячекратно повторяющиеся жизненные испытания, в которых и для страданий тоже есть место. Это правда, на сегодняшний день нет такого места, в котором бы их не было. Многое ли в итоге решает, что в одном столетии господствует инквизиция, а в другом людям причиняют страдания войны и погромы? Бессмысленные страдания, как они сами говорят. Страдание всегда претендовало на свое место и права, и многое зависит от того, в какой форме оно выражено. Решающим является, как его переносить; в состоянии ли ты, не отрицая при этом самой жизни, включить его в свою жизнь. Но может, это лишь теория, не проверенная на практике? Размышления за письменным столом, где меня доверчиво окружают книги, как там, на улице, — жасмин? Не думаю. Вскоре я предстану перед последней чертой. Наши разговоры нынче нашпигованы фразами типа «я надеюсь, что он еще сможет отведать клубники». Я знаю, как Миша, с его

слабым здоровьем, должен бегать на вокзал, я думаю о бледных детских лицах Мирьям и Ренаты и о горестях многих других. Мне каждую минуту все, все это известно в полной мере, и иногда я склоняю голову, как под тяжелой ношей, лежащей на моем затылке, и одновременно с тем, как я, зная обо всем, склоняю голову, появляется потребность почти автоматическим движением сложить руки. Могла бы так сидеть часами. Мне все известно, и я все могу выдержать и стать сильнее. И также я уверена, что жизнь прекрасна, достойна и полна смысла. Вопреки всему. Это не значит, что мое настроение всегда возвышенное. После долгой дороги, после ожиданий в очереди можно быть уставшей, как собака, но опять же и это относится к жизни, и где-то в тебе есть что-то такое, что никогда больше не покинет тебя.

3 июля 1942, пятница, 8.30 вечера. Это правда, я все еще сижу за тем же письменным столом, но под всем предшествующим надо подвести черту и дальше писать уже в другом тоне. Нужно предоставить место новой данности, надо включить ее в свою жизнь. Речь идет о нашей гибели, о нашем истреблении, по поводу которого не следует больше строить никаких иллюзий. Нас хотят полностью уничтожить, мы должны принять это и жить дальше. Сегодня меня обуяло глубокое уныние, я попытаюсь с ним справиться, ибо если уж мы должны подохнуть, то сделать это надо по возможности грациозно. Я не хотела выразить это так тривиально. Почему именно сейчас возникло это чувство? Из-за волдырей на ступнях от беготни по этому жаркому городу, в котором так много людей со ступнями, истертыми в кровь, — с тех пор, как они не смеют больше ездить на трамвае? Из-за бледного личика Ренаты, которая своими маленькими ножками должна по жаре бежать в школу, час туда и час обратно? Потому что, простояв в очереди, Лизл все равно не получит овощей? Из-за такого ужасающего количества незначительных по сути вещей, объединившихся в большую уничтожающую борьбу против нас. И все другое, гротескное и с трудом представляемое: S. не смеет больше навещать меня в этом доме, он должен отказаться от своего рояля и книг, а я больше не имею права пойти к Тидэ и т. п.

Ладно, я приму эту новую данность: нас хотят полностью уничтожить. Теперь я это знаю. Я не буду нагружать своими страхами других, не буду огорчаться, видя, как другие не понимают, что с нами, евреями, происходит. Одна данность не должна ни пожирать, ни разрушать другую. Я работаю и продолжаю жить с теми же убеждениями, и нахожу жизнь полной

смысла, несмотря ни на что — полной смысла, хотя вряд ли осмелюсь высказать это в обществе.

Жизнь и смерть, горе и радость, волдыри на моих стертых в кровь ногах и жасмин за домом, преследования, безмерная жестокость — все это во мне складывается в одно большое целое, и я выдержу все это, и буду все больше постигать (только для себя самой, без объяснений кому-либо), как все взаимосвязано. Я хотела бы жить долго, чтобы когда-нибудь, позже, суметь то, что я поняла, растолковать другим, а если это мне не будет позволено, ну, тогда пусть кто-то другой продолжит мою жизнь с того места, где она прервется. И поэтому я должна до последнего вздоха жить хорошо и так убежденно, как это только возможно, чтобы тому, кто придет после меня, не было так тяжело и не пришлось начинать с самого начала. Может, это делается для будущих поколений? В свете последних постановлений еврейский друг Бернарда спросил, не пришла ли я еще к мнению, что всех их надо было бы уничтожить, и лучше всего порубить на куски.

3 июля 1942. Ах, мы ведь все несем в себе: Бога и небо, ад и землю, жизнь и смерть, и столетия, много столетий. Меняются декорации внешних обстоятельств, но мы все несем в себе, и обстоятельства никогда не бывают решающими, потому что они есть всегда, хорошие или плохие, и с этим фактом нужно смириться, он не мешает использовать жизнь для улучшения этих обстоятельств. Однако должны быть ясны мотивы борьбы, которую каждый день нужно заново начинать с себя.

Раньше мне казалось, что ежедневно должна выдавать массу гениальных идей, а сейчас я, как целина, где ничего не растет, но над которой высокое тихое небо. Так лучше. В настоящее время я больше не доверяю многообразию зарождающихся во мне мыслей. Лучше буду лежать вот так, невспаханная, и ждать. В последние дни во мне ужасно много всего происходило, и вот наконец выкристаллизовалось. Я посмотрела в глаза нашей гибели, нашей наверняка ужасной гибели, которая уже сейчас во многих мелочах повседневной жизни дает о себе знать, и включила ее в свою жизнь. Но так, чтобы мои жизненные ощущения не потеряли силу. Во мне нет озлобленности и мятежности, но я вовсе не пала духом и не смирилась с судьбой. Мое развитие, даже с возможностью предстоящего уничтожения, день ото дня беспрепятственно продолжается. Не хочу кокетничать словами, вызывающими только непонимание: я свела счеты с жизнью, со мной ничего больше не произойдет, так как речь идет не обо мне лично, и дело не в том, я или кто-то другой уйдет из жизни, речь

идет о всеобщей гибели.

Бывает, говоря об этом с другими, хотя в этом мало смысла, я не вполне ясно выражаю свои мысли, но и это не важно.

Сказав «свела счеты с жизнью», я сказала, что возможность смерти теперь для меня абсолютно приемлема. Благодаря тому, что я посмотрела смерти, гибели в глаза и восприняла ее как часть жизни, моя жизнь как будто расширилась. Нельзя преждевременно приносить часть жизни в жертву смерти, защищаясь от нее и боясь ее. Неприятие смерти и страх перед ней оставляют нам лишь жалкий, изуродованный остаток жизни, что и жизнью-то нельзя назвать. Это звучит почти парадоксально: если смерть вытеснить из жизни, жизнь никогда не будет полной, совершенной, а приняв смерть — расширяешь и обогащаешь свою жизнь.

Это моя первая очная ставка со смертью. У меня с ней не было никакого опыта. В отношениях со смертью я девственно чиста. Никогда не видела ни одного покойника. Представить только, в этом усеянном миллионами трупов мире я, в мои 28 лет, не видела еще ни одного покойника. Правда, иногда я спрашивала себя, как отношусь к смерти, но серьезно для себя лично ее никогда не рассматривала, у меня на это не было времени. А сейчас она пришла, в полный свой рост и впервые, но и как давний знакомый, как часть жизни, которую нужно принять. Все очень просто. Нет необходимости в глубокомысленных рассуждениях. Смерть незаметно вошла в мою жизнь; крупно, просто, почти бесшумно, как что-то само собой разумеющееся. Она заняла свое место, и я знаю теперь, что она является частью жизни.

Вот, теперь спокойно могу идти спать, сейчас 10 вечера. Сегодня я мало что сделала. Уладила в жарком городе некоторые мелочи, при этом порядочно хлопот доставили мне волдыри на ногах. После этого на меня напала слабость, неуверенность. Позже я пошла к нему. У него болела голова, и он был этим обеспокоен, так как обычно в его сильном теле все функционировало отлично. Я немного полежала в его объятиях, и он был таким нежным, милым, чуть ли не грустным. Мне кажется, сейчас в нашей жизни начинается новый этап. Еще более серьезный, более интенсивный период, когда необходимо сконцентрироваться на самом важном. С каждым днем отпадает все больше мелочей. *«Речь идет о нашем уничтожении, это ведь ясно, нам не нужно вводить себя в заблуждение»*. Завтрашнюю ночь я буду спать в кровати Дикки[41], сам S. — этажом ниже, а утром он разбудит меня. Это все еще есть. А как мы сможем в это время помочь друг другу, будет видно.

Немного позже. И хотя этот день не принес мне ничего, кроме как напоследок необходимого и безудержного столкновения со смертью, с гибелью, все же нельзя забыть кошерного немецкого солдата, стоявшего у киоска с мешком моркови и цветной капусты. Сперва в трамвае он вложил в руку девушки записку, а позже пришло письмо, которое я должна еще раз прочесть. Девушка сильно напомнила ему умершую дочку раввина, за которой на ее смертном одре он должен был день и ночь ухаживать. А сегодня вечером он придет в гости.

Когда Лизл все это мне рассказала, я вдруг поняла: сегодня вечером буду молиться и за этого немецкого солдата. Одна из многих униформ теперь обрела лицо. И наверное, есть еще много таких лиц, в которых мы сможем что-то прочесть, и мы это понимаем. Он тоже страдает. Между страдающими людьми не существует границ, они есть по обеим сторонам всех границ, и молиться нужно за всех. Спокойной ночи. Со вчерашнего дня я опять стала старше, старше сразу на много лет и серьезнее. Ушло уныние, и на его место пришла еще большая, чем прежде, сила. И еще вот что: познавая свои слабости и недостатки и принимая их, человек становится сильнее. Все так просто, мне становится это все понятней, и я хотела бы долго жить, чтобы сделать это понятным для других. А теперь действительно спокойной ночи.

Суббота [4 июля 1942], 9 часов утра. Похоже, во мне происходят большие изменения, и я надеюсь, что речь идет о большем, чем просто настроение.

Вчера вечером я дошла до нового озарения, если что-то подобное вообще можно назвать «озарением». И сегодня утром во мне покой, хорошее настроение и уверенность, каких давно уже не было. А причиной этому стал небольшой волдырь на левой ноге.

Мое тело — кладовая для множества притаившихся во всех углах болячек, и при этом обнаруживается то одна из них, то другая. И я с этим смирилась. Сама удивляюсь, как при всем том могу хорошо работать, могу сконцентрироваться. Но нужно иметь в виду, что, когда здесь все станет серьезно, с одними духовными силами далеко не уйдешь. Научил меня этому небольшой поход в налоговую инспекцию и обратно. Вначале мы, как веселые туристы, мчались через красивый солнечный город. Его рука поймала мою, и они так по-доброму прижались друг к другу. Когда же я через какое-то время очень устала, появилось по-настоящему странное чувство оттого, что в этом городе с его бесконечными улицами нам нельзя ехать в трамвае, нельзя нигде

посидеть на террасе (о многих террасах я ему что-нибудь рассказывала: «Смотри, здесь два года тому назад я сидела со всеми друзьями после моего докторского экзамена»). И я подумала, или на самом деле я вовсе не думала, скорее это было ощущение: во все века на божьей земле были уставшие люди, стиравшие себе ноги до крови в холодную или жаркую пору, и это тоже всегда было частью жизни. В последнее время мне все чаще кажется, что даже в моих мельчайших повседневных заботах и впечатлениях украдкой проблескивает вечность. Я не единственная, кто устал или болен, печален или испуган, я разделяю участь миллионов других людей из многих веков. Все это часть жизни, и тем не менее в ее бессмысленности, если только всему предоставить место и если принять в себя жизнь как единое целое, заложены красота и смысл. А как только какую-то часть из целого исключаешь, как только самовольно что-то в жизни принимаешь, а что-то другое — нет, она и вправду становится бессмысленной, потому что больше нет целого, все становится произвольным.

А в конце нашей долгой прогулки нас ожидала безопасная комната с диваном, на котором, сняв обувь, можно было вытянуться. Прием был очень сердечным, друзья из Бетюве прислали корзину черешни. Прежде хорошая еда для нас была чем-то само собой разумеющимся, теперь это — неожиданный подарок. И хотя с одной стороны жизнь стала жестче и опасней, с другой — она стала богаче, поскольку мы больше не предъявляем к ней никаких требований и все хорошее становится неожиданным подарком, благодарно нами принимаемым. Во всяком случае, я это так чувствую, и он тоже, мы иногда говорим об этом. Как странно, что мы вообще не чувствуем ненависти, негодования, озлобления. Открыто высказывать это в обществе больше нельзя, мы бы вызвали замешательство и остались бы с нашими убеждениями одни.

Когда мы ходили по городу, я знала, что в конце пути нас ждет надежный дом, но также мне было известно, что придет время, когда нас никакой дом ждать не будет, а в конце пути будет стоять барак, где мы будем ютиться вместе со множеством людей. Пока мы шли, я осознала, что так будет не только со мной, но и с другими тоже, и приняла это.

И еще кое-чему, что следует признать, научила меня эта прогулка: за два коротких часа беготни у меня так сильно разболелась голова, что казалось, мой череп треснет по всем швам. И ноги болели так, что подумалось: как же я смогу когда-нибудь снова ходить? И от многих принятых таблеток аспирина (это вынужденная мера, так как иначе я бы легла и не вставала,

но не надо ли мало-помалу учиться переносить боль без лекарств?) весь последующий день у меня было смутное ощущение физического отравления. Для меня в этом нет ничего страшного, по этой причине моя жизнь ни на мгновение не стала менее интенсивной и прекрасной, но надо объективно признать, что ты, дорогая моя, никуда не годишься. Твое тело совершенно не тренировано, оно не оказывает сопротивления, ты в трудовом лагере свалилась бы через три дня, и все духовные силы мира не спасут тебя, если на приятную двухчасовую прогулку ты реагируешь такой головной болью и такой усталостью, и это пока еще на фоне всех удобств. Не беда. Я вытянусь на полу, меня стошнит, и тогда все пройдет, и я смогу продолжать славить Господа и жизнь. Примерно так представляю себе это сейчас.

Но с другой стороны — досада, боязнь быть в тягость другим, боязнь повиснуть на них гирей, и тем самым еще больше затруднить чей-то путь. Раньше, не желая быть балластом, я всегда, если что-то касалось моего физического состояния, скрывала это от других. Я вместе со всеми куда-то бежала, что-то праздновала, шла очень поздно спать, я все делала вместе со всеми. Не было ли в этом честолюбия? Боязни, что я буду меньше нравиться другим, что они будут раздражены, бросят меня, если я своей усталостью омрачу их удовольствия? В этом тоже скрывалась причина моих комплексов неполноценности. А к нашей прогулке добавилось еще то, что мы договорились завтра рано утром посетить некоторые адреса в еврейском квартале, где по возможности могли бы оказать помощь, а дорога туда намного длиннее, чем была в налоговую инспекцию.

Вплоть до вчерашнего вечера мне не хватало мужества сказать, что я не могу так далеко бежать, потому что знаю, для него долгая прогулка — отдых. Подумала примерно так: с Тидэ он может бегать часами, в таком случае я тоже должна с этим справиться. Все тот же детский страх утратить чью-то любовь, если полностью не приспособишься. Но теперь постепенно я начинаю все больше освобождаться от таких вещей. Нужно уметь признаваться в своих недостатках, и в физической сфере тоже. И нужно смириться с тем, что не можешь для другого быть всем, чем хотелось бы.

Признаться в своих слабостях еще не значит жаловаться, с чего по-настоящему начинается беда, и для других тоже. Думаю, большей частью именно это толкнуло меня вчера около 8 вечера помчаться к нему, отменив против моих правил по телефону ученика только для того, чтобы еще раз немного побыть с ним. И сразу же, когда легла рядом с ним на диван, сказала, что удручена тем, что вчерашняя долгая прогулка меня очень

утомила и что по ней я могу судить, как мало иллюзий остается по поводу моего физического состояния. И он тут же сказал, как будто это самая простая вещь на свете: «Тогда, пожалуй, будет лучше, если мы в воскресенье утром отправимся не так далеко». Я предложила катить рядом с собой велосипед, а на обратном пути на нем ехать. Само по себе — мелочь, но для меня это было достижением, так как по обыкновению я бы предпочла израненные ноги, только бы не испортить ему настроения тем, что по моей вине сорвалась прогулка.

Конечно, эти вещи существовали только в моем воображении. А сейчас, как что-то само собой разумеющееся, я сказала примерно так: «Смотри, моих сил хватило до сих пор, дальше я не могу, я не виновата, ты должен принимать меня такой, какая я есть». Это и означает для меня следующий шаг к зрелости и независимости, к которым я, похоже, каждый день приближаюсь.

Многие люди, возмущенные в наши дни несправедливостью, возмущены только потому, что эта несправедливость коснулась их. Оттого возмущение это не настоящее, не глубокое.

Я знаю, что в течение трех дней в трудовом лагере умру, лягу и умру, а жизнь, несмотря на это, считаю справедливой.

Позднее утро. Каждый раз, когда надеваешь чистую рубашку и когда полчаса моешься душистым мылом в ванной комнате, принадлежащей тебе одной, — это маленький праздник. Похоже, я постоянно занята тем, что прощаюсь с достижениями цивилизации. И если позже должна буду обходиться без них, я буду всегда знать, что они есть, что они делают жизнь приятной, и буду приветствовать их как радости жизни, хотя они и не будут мне больше доступными. Здорово ведь, что они сейчас случайно выпали на мою долю, не так ли?

Нужно осмыслить все, что надвигается. И то, как к тебе, когда ты, купив зубную пасту, как раз покидаешь аптеку, подходит так называемый соотечественник с лицом инквизитора и, тыча в тебя указательным пальцем, спрашивает: «А вам позволено здесь покупать?» И я скромно, но твердо, с обычной своей любезностью: «Да, господин, это ведь аптека». «Так», — коротко и недоверчиво говорит он и идет дальше. Я не очень находчива. Бойкой на язык могу быть только в умной беседе с себе подобным. Перед сбродом на улице, выражаясь резко, я совершенно беззащитна. В таких ситуациях я смущена, расстроена и изумлена тем, что люди могут вот так обращаться друг с другом, но не в состоянии огрызнуться и выдать остроумный, в пределах дозволенного ответ. У этого

человека не было никаких прав требовать от меня объяснений. Этакий идеалист, намеренный помочь в очищении общества от еврейских элементов. У каждого свои удовольствия в этой жизни. Однако такое небольшое соприкосновение с внешним миром должно быть посильным.

Мне ничуть не интересно изображать из себя героя перед тем или иным обидчиком во внешнем мире, и я никогда не буду играть эту роль. Пусть они видят, что я расстроена и совершенно беспомощна перед ними. Во мне нет потребности изображать геройство, я владею внутренней силой, и этого достаточно, остальное не имеет значения.

[5 июля 1942], 8.30 утра. На нем была светло-голубая пижама, и когда он вошел, лицо его выражало смущение. Он выглядел таким милым. А потом он сел на край кровати и мы разговаривали. Теперь он ушел, и пройдет час, пока он закончит туалет, гимнастику, чтение. При чтении я могу составить ему компанию. Когда он сказал: «Теперь мне понадобится еще один час», мне стало так грустно, как будто я должна была попрощаться с ним навсегда. Внезапная волна тоски захлестнула меня. О, дать свободу тому, кого любишь, полностью предоставив его собственной жизни, — самое трудное, что может быть. Я учусь этому, учусь из любви к нему.

На улице настоящая оргия птичьих голосов. Перед моим широко распахнутым окном — плоская крыша с галькой и на ней голубь. И раннее солнце. Сегодня утром он кашлял, у него все еще побаливает голова, и он сказал: «Нам не следует идти есть к Адри». Ему приснился плохой сон, который он назвал «предостерегающим».

Я проснулась в 5.30. В 7.30, полностью искупавшись и немного позанимавшись гимнастикой, опять залезла под одеяло. Он, смущенный, кашляя, нерешительно вошел в своей светло-голубой пижаме и сказал: *«изнуряющее состояние»*. Вместо того чтобы отправиться в дальний путь, мы утром пойдем к врачу. Я сегодня оставлю все дела и, погрузившись в свою внутреннюю тишину, буду отдыхать в ее внутреннем пространстве, данным мне гостеприимством целого дня. Может быть, и отдохну. Все тело и голова в плохом, крайне утомленном состоянии. Но мне сегодня не нужно работать, все наладится.

Солнце освещает крышу, на улице птичий гомон, а эта комната такая приветливая, что хочется молиться. У нас обоих позади по-настоящему бурная жизнь, у него с женщинами, у меня с мужчинами. Он сидел в светло-голубой пижаме на краю

кровати, его голова покоилась на моих голых руках, и мы, до того как он ушел, немного поговорили. В сущности, это было очень трогательно. Никто из нас не начал пошло использовать удобную ситуацию. У обоих позади насыщенная, вольная жизнь с другими, и все же каждый раз мы снова смущаемся. Мне кажется это прекрасным, и я радуюсь этому. Сейчас надену мой цветной халат и спущусь вниз, чтобы вместе с ним читать Библию. После этого я в течение всего дня, сидя в углу, буду наслаждаться собственным покоем. У меня вполне привилегированная жизнь. Мне не нужно заниматься сегодня ни домашним хозяйством, ни давать уроки. Вот лежит мой завернутый в бумагу завтрак, и Адри принесет нам поесть что-нибудь горячее. Я останусь устало сидеть в моем тихом углу, как Будда, поджав под себя ноги, и буду улыбаться, разумеется, внутренне.

9.45. Пара Псалмов натощак — хорошее блюдо, его можно включить в свою повседневную жизнь.

Мы вместе прожили начало дня, и это было замечательно. Очень питательное кушанье. Только когда он сказал: «Теперь я хотел бы сделать гимнастику и одеться» — снова этот дурацкий укол в сердце. Я поняла, что должна подняться в свою комнату, и вторично почувствовала себя одиноко брошенной в этом мире. Однажды я написала, что хотела бы делить с ним свою зубную щетку. Стремление быть с ним вместе и в самых повседневных мелочах. И все же дистанция — это хорошо, плодотворно. Как только он позовет меня к завтраку за маленьким, круглым, стоящим перед ежедневно отцветающей алой геранью столом, мы снова обретем друг друга. О, птицы и солнце на крыше с галькой. И во мне такая ясность и душевное спокойствие. И покоящаяся в Боге удовлетворенность. От Ветхого Завета исходят исконные силы, и есть в нем что-то «народное». Там живут прекрасные ребята. Поэтичная, строгая форма. Библия, в сущности, необычайно увлекательная, суровая и полная чувств, наивная и мудрая книга. Она интересна не только тем, что в ней высказано, но и теми личностями, которые это передают.

10 часов вечера. Только вот еще что: отдельные минуты сегодняшнего дня как бы мгновенно улетучились, однако весь день покоится во мне как невредимое, отрадное целое, как воспоминание, которое когда-нибудь еще понадобится и которое носишь с собой как непрерывно присутствующую реальность. За каждой фазой этого дня следовала другая, перед которой блекло все предыдущее. Не нужно полагаться ни на спасение, ни на погибель. И то, и другое — крайние случаи, но ни на какие из них

не надо рассчитывать. Пока речь идет о неотложных бытовых вещах. Вчера вечером мы говорили о трудовом лагере. Я сказала: «У меня не должно быть никаких иллюзий, я знаю, что умру через три дня, потому что не выдержу это физически». Вернер относительно себя того же мнения. Лизл же сказала: «Не знаю, у меня чувство, что я, вопреки всему, выстою». Хорошо понимаю ее, раньше у меня тоже было такое же чувство. Чувство неистощимой энергии. И, по сути, оно еще у меня есть, но это не нужно понимать материально. Дело не в том, выдержит ли все твой нетренированный организм, это относительно второстепенно; истинная сила скорее состоит в том, чтобы, уходя из жизни, вплоть до последнего момента чувствовать, что она прекрасна, наполнена смыслом, что все в тебе осуществилось и что жить стоило. Я не могу это по-настоящему правильно объяснить, все время пользуюсь одними и теми же словами.

Понедельник [6 июля 1942], 11 часов утра. Сейчас, наверное, целый час я смогу писать о самых необходимых вещах. Рильке где-то написал о своем парализованном друге Эвальде: *«Но бывают также дни, когда он стареет и минуты проходят через него, как годы»*.

Так и через нас прошли часы вчерашнего дня. При прощании я слегка прижалась к нему и сказала: *«Я бы хотела еще так долго быть с тобой, как это только возможно»*. Его рот придал лицу такое беззащитное, такое нежное, печальное выражение, и он сказал почти мечтательно: *«Разве у нас еще могут быть собственные желания?»*

А теперь я спрашиваю себя: не должны ли мы уже попрощаться и с нашими желаниями? Начав смиряться, не нужно ли смириться со всем? Он стоял в комнате Дикки, прислонившись к стене, и я с нежностью, легко прильнула к нему. На вид — никакого различия с бесчисленными подобными моментами моей жизни, но вдруг, словно в греческой трагедии, над нами распростерлось небо, на мгновение в моем сознании все расплылось, и так стояли мы в пропитанном угрозами и вечностью бесконечном пространстве. Быть может, в этот момент внутри нас окончательно произошел перелом. Он еще немного постоял у стены и сказал чуть не плачущим голосом: *«Я должен сегодня вечером написать моей подруге, у нее скоро день рождения. Но что я ей напишу, нет ни настроения, ни вдохновения»*. И я сказала ему: «Ты должен уже сейчас попытаться примирить ее с мыслью, что она никогда не увидит тебя. Ты должен дать ей опору для дальнейшей жизни, вспоминая, как вы все эти годы, несмотря на физическую отдаленность, продолжали жить вместе.

И что ее долг продолжать жить в твоем духе и таким образом сохранить твою душу для мира, сейчас важно только это». Да, так сегодня люди говорят друг с другом, и это не звучит больше нереально, мы вступили в новую действительность, в которой все приобрело другие краски, другие акценты. И между нашими глазами, руками, губами струился непрерывный поток нежности и сострадания, в которых исключалась малейшая страсть, а было лишь все добро, которое мы способны дать друг другу. И каждое «быть вместе» — тоже прощание. Сегодня утром он позвонил и задумчиво сказал: *«Вчера все было прекрасно*, мы должны в течение дня быть вместе столько, сколько это возможно».

А вчера днем, когда мы, два избалованных *«холостяка»*, какими мы оба все еще являемся, за его круглым столиком поглощали обильный, не соответствующий нынешнему времени ланч, я сказала, что не хочу его покидать. Он стал вдруг строгим и убедительно произнес: *«Не забывайте все то, что вы всегда говорите. Вы не должны этого забывать»*. В этот раз я больше не чувствовала себя (как это часто случалось раньше) маленькой девочкой, исполняющей роль в ушедшей далеко за пределы моего понимания театральной пьесе. В этот раз речь шла о моей жизни и моей судьбе. И эта судьба, полная угроз и неизвестности, веры и любви, окружала меня со всех сторон и подходила мне, как сшитое по мерке платье. Я люблю его со всем бескорыстием, которое недавно для себя определила, и не хочу малейшей тяжестью моей тоски и моих тревог повиснуть на нем. Отказываюсь даже от желания до последнего мгновения оставаться с ним. Мое существо постепенно превращается в огромную молитву за него. Но почему только за него? Почему также не за всех остальных людей? Шестнадцатилетние девочки тоже будут отправлены в трудовой лагерь. Если в ближайшее время придет черед голландских девочек, мы, старшие, должны взять их под защиту. Еще вчера вечером я хотела спросить Хана: «Тебе известно, что и 16-летних девочек призовут?», но я удержалась от этого вопроса, подумала: «Почему надо плохо к нему относиться, зачем делать его жизнь еще тяжелей? Разве я не могу сама справиться с этими вещами? Каждый должен знать о том, что происходит, это верно, но не нужно ли также хорошо относиться к другим и не нагружать их тем, что можно вынести самому?»

Несколько дней назад я подумала, что худшее для меня наступит, когда отнимут бумагу и карандаш и не позволят время от времени в себе самой создавать ясность, что для меня является самым-самым необходимым, в противном случае с течением времени во мне что-то сломается и уничтожит меня изнутри.

И теперь я знаю: если однажды начать отказываться от своих требований, своих желаний, то можно отказаться от всего. Я научилась этому за несколько дней.

Может быть, прежде чем откроется, что до сих пор мне удавалось ловко обходить петли приказов, я еще на один месяц останусь здесь. Приведу в порядок свои бумаги и каждый день буду прощаться. Тогда настоящее прощание будет только маленьким внешним подтверждением того, что происходило во мне изо дня в день.

Так странно на душе. Неужели это действительно я с таким спокойствием и зрелостью сижу здесь за письменным столом? Смог бы меня понять кто-нибудь, скажи я, что чувствую себя странно счастливой, что это не напыщенность или нечто подобное, а просто я счастлива оттого, что ежедневно во мне растут доброта и вера? Потому что все, что мне предстоит, все сбивающее с толку, угрожающее, тяжело переносимое ни на мгновение не смущает мою душу? Ибо отчетливо, ясно, во всех ее очертаниях я узнаю жизнь. И ничто не омрачает моих мыслей, моих чувств. Потому что я все могу выдержать и осмыслить и потому что осознание всего хорошего в жизни, и в моей жизни тоже, не вытесняется чем-то другим, а, наоборот, становится все сильнее. Я едва ли осмелюсь писать дальше. Не знаю, что это, когда захожу слишком далеко в своем стремлении не поддаться тому, что большинство других людей вгоняет в безумие. Если бы я знала, совсем точно знала, что на следующей неделе умру, могла бы всю неделю сидеть за письменным столом и в душевном покое продолжать учиться. И это не было бы бегством, ибо теперь я знаю, что жизнь и смерть осмысленно связаны друг с другом. Это переход, хотя конец в своем внешнем выражении — ужасный.

Нам предстоит еще многое испытать. Скоро мы станем нищенски бедны, и если так будет еще долго продолжаться, внутренне зачахнем, наши силы день ото дня будут увядать. Не только от страха и неизвестности, но также из-за массы мелочей, примерно таких, как запрет на посещение магазинов, как все дороги, которые мы должны проходить пешком, что уже подрывает силы многих моих знакомых. Со всех сторон подкрадывается истребление, и скоро круг замкнется, так что и благосклонно настроенные к нам люди больше не смогут помочь. Пока что есть еще много лазеек, но скоро они закроются.

Как странно! Сейчас дождливо и холодно. Будто вдруг через крутой склон плоскогорья душной летней ночи ты соскользнул в холодную, сырую долину. Последний раз, когда я ночевала у Хана, тоже был такой резкий переход от тепла к холоду. Когда вчера вечером у открытого окна мы говорили о последних,

тяжелых событиях, я, взглянув на его искаженное лицо, почувствовала, что этой ночью мы обнимемся и будем плакать. И правда, мы лежали обнявшись, но не плакали. Только когда его тело в последний раз содрогнулось надо мной, во мне вдруг поднялась и захлестнула меня волна печали, очень древней печали. Это была жалость к себе и ко многим другим, а потом я снова осознала, что все должно быть так, как есть. Но, спрятав в темноте голову на его голом плече, я тайно глотала слезы. А потом мне вдруг вспомнился торт г-жи Витковски, торт, внезапно покрывшийся слоем клубники, и я с чувством чуть ли не искрящегося юмора про себя усмехнулась. Сейчас мне нужно побеспокоиться об обеде, а в 2 часа я пойду к нему. Могла бы еще упомянуть, что мой желудок не в порядке, однако я намеревалась больше не писать о своем здоровье, на это уходит слишком много бумаги, и с этим я тоже справлюсь. Раньше мне нужно было об этом много писать, потому что я не могла иначе, но теперь это уже позади. По меньшей мере, я так думаю. Говорит ли это о моем легкомыслии и самонадеянности? Не знаю.

7 июля [1942], вторник, 9.30 утра. Только что позвонила Мин. Вчера Мишу вызвали в Дренте на обследование. Результат пока не известен. Сказала, что мама на взводе, а папа много читает, в нем много внутренних сил.

Улицы, через которые я проезжаю на велосипеде, уже не такие, какими они были раньше; и даже при сияющем солнце низко и зловеще нависают тучи, словно грозовые. Живя бок о бок с роком, или как это называется, привыкаешь к ежедневному общению с ним, но совсем по-другому, не так, как раньше мы могли об этом прочитать в книгах.

О себе я теперь знаю, что должна оставить беспокойство о других, даже о тех, кого люблю. Этим я хочу сказать, что все силы, вся любовь, вся обретенная вера в Бога, так удивительно возросшая во мне в последнее время, должны быть наготове для любого, кто может случайно встретиться на пути и будет нуждаться в этом. *«Я к вам страшно привык»*, — сказал он вчера. Одному Богу известно, как *«страшно привыкла»* к нему я. Но все же и его я должна отпустить. Это значит: из моей любви к нему черпать любовь и силу для тех, кто в них нуждается. Любовь и беспокойство за него не должны отнимать мои силы, ибо даже это — *«эгоцентризм»*. Из страданий тоже можно черпать силы. А той любовью, которую я чувствую к нему, можно питаться всю жизнь, да еще делиться с другими. Нужно быть до конца последовательным. Правда и то, что пока он есть, я все выдержу, но если с ним что-то случится или мы будем врозь — не смогу

жить дальше. Но и тогда нужно продолжать жить. На сегодняшний день существует только две возможности: либо *безоглядно* думать только о себе и своем самосохранении, либо отказаться от всех личных желаний и смириться с судьбой. Для меня смирение не означает покорность или самоотречение, нет, это попытка не предаваться собственному горю и гневу, а лучшими своими силами помогать там, где я по божьей воле случайно оказалась. У меня на душе все еще так странно. Будто я не шла, а парила. Так бы я это выразила. Наверное, в реальной жизни я еще не совсем твердо стою на ногах и не знаю в точности, что нас ожидает.

Еще несколько дней назад я писала, что осталась бы сидеть за своим письменным столом, продолжая учиться. *Больше этого нет.* То есть это еще есть, но нужно отказаться от таких запросов. Нужно отказаться от всего, чтобы день за днем делать тысячи необходимых маленьких дел и не потерять в них себя. Вернер вчера сказал: «Мы не переезжаем на другую квартиру, *в этом больше нет смысла*» и, посмотрев на меня, добавил: «Надо надеяться, мы уедем вместе». Маленький Вейл с грустью осмотрел свои худые ноги и сказал: *«Мне нужно на этой неделе добыть еще две пары нижнего белья, непонятно только как»*, — и, обращаясь к другим: *«Только бы попасть с вами в один состав»*.

Отъезд на следующей неделе в половине второго ночи. Дорога бесплатная, да, в самом деле бесплатная, но с собой нельзя брать никакой домашней утвари. Это все указывалось в обращении. Нужно взять рабочую обувь, две пары носков, одну ложку, но ни золота, ни серебра, ни платины, нет, этого нельзя. Ты хочешь взять обручальное кольцо? О, как это трогательно. Это можно, тебе разрешают его сохранить. «Я не буду брать с собой шляпу, только кепку, там она нам больше пойдет», — сказал Фейн.

Да, вот так мы нынче проводим наш «час биттера». Вчера по дороге домой после нашего традиционного сборища я подумала: «Господи, как же я буду сейчас еще давать урок». И об этих полутора часах с Вермескеркен с ее гладкой мальчишеской стрижкой и большими дерзкими глазами я могла бы написать целую книгу. Надеюсь, что все об этом времени сохраню в памяти и смогу позже рассказать. Все не так, как написано в книгах, все совсем иначе.

Я не могу описать все ежедневно по тысяче раз переживаемые подробности, но мне очень хотелось бы сохранить их в своих воспоминаниях. Я решила, что мой дар наблюдательности будет безошибочно и даже с особым удовольствием все отмечать. Вопреки всему, что мне предстоит вытерпеть, вопреки усталости,

страданиям и всему остальному со мной всегда будет еще моя радость — радость художника от восприятия вещей и формирования в душе собственных образов. Я с интересом буду читать и запоминать последние выражения лиц умирающих и хранить их в себе. Я страдаю вместе со всеми, с кем сейчас каждый вечер разговариваю и кто со следующей недели будет работать в каком-нибудь опасном месте этой Земли. На фабрике боеприпасов или бог знает где еще, в случае, если им вообще будет позволено работать. Но я почти с холодной объективностью замечаю каждый жест, каждое слово, каждое выражение на их лицах. Во мне есть наблюдательность художника, и я верю, что позже, если сочту необходимым рассказать обо всем увиденном, таланта хватит и на это.

Вторая половина дня. Один друг Бернарда встретил на улице немецкого солдата, который попросил у него сигарету. Завязался разговор, из которого выяснилось, что солдат австриец и ранее был профессором в Париже. Хочу привести одну фразу из их пересказанного Бернардом разговора. Он сказал: «В Германии больше солдат умирает в казармах, чем от противника».

В воскресное утро на террасе у Лео Крейна один биржевик: «Мы страстно должны молить о том, чтобы стало лучше, пока мы еще готовы к улучшению. Потому что, когда вследствие нашей ненависти мы опустимся до таких диких псов, какими стали они, — все будет бесполезно».

Наибольшее беспокойство мне все еще причиняют мои непригодные ноги. Надеюсь, что мочевой пузырь к тому времени вернется в норму, а не то в тесной компании ближайшего будущего я стану обременительной фигурой. Кроме того, нужно наконец пойти к стоматологу, нужно срочно уладить все необходимые дела, которые бесконечно откладывались. И я прекращу долбить русскую грамматику. Моих знаний для учеников хватит еще на пару месяцев, лучше закончу «Идиота».

Перестану также делать выписки из книг, это забирает много времени, да и столько бумаги мне так или иначе тащить не позволят. Самое существенное для худших времен, для времен лишений я сберегу в памяти. И к тому факту, что отсюда нужно будет уйти, смогу легче привыкнуть, если при всем, что делаю, не буду забывать о предстоящем прощании, чтобы *настоящий конец* не стал для меня слишком тяжелым ударом. Нужно уничтожить письма, бумаги и старый хлам в моем письменном столе. Я не думаю, что Миша будет признан пригодным.

Надо пораньше лечь спать, иначе завтра буду сонная, а этого нельзя допустить. Прежде чем Лизл отправится в Дренте, я должна забрать у нее письмо нашего немецкого солдата, сохранить его как «человеческий документ». После первого убийственно сильного отчаянья в истории наметился примечательный поворот. Жизнь столь гротескна, поразительна, так беспредельно многообразна, и за каждым новым ее поворотом открывается совершенно другой вид. В головах большинства людей — клишированные представления о жизни. Нужно, внутренне освободившись от всех привычных представлений и лозунгов, отказаться от мысли о всякой безопасности. Нужно иметь мужество отказаться от всего, оставить любые нормы и общепринятые опоры и отважиться на огромный прыжок в космос. И тогда, только тогда жизнь станет неисчерпаемо богатой. В том числе и в глубочайшем страдании.

Хотела бы, прежде чем наступит время, когда я, наверное, долго не смогу взять в руки книгу, еще раз прочесть всего Рильке. Я сильно идентифицирую себя с небольшой группой людей, с которыми случайно познакомилась у Вернера и Лизл и которые на следующей неделе будут депортированы в Германию для работ под надзором полицейских. Сегодня ночью мне снилось, что я должна упаковать свой чемодан. Это была мучительная ночь. В самое большое отчаянье меня приводит причиняющая мне боль обувь. Как должна я засунуть в один чемодан или рюкзак и белье, и провиант на три дня, и одеяло? Останется ли еще местечко для Библии? И если возможно, для *«Часослова»* и *«Писем к молодому поэту»* Рильке? Я бы еще с удовольствием взяла с собой оба русских словаря и «Идиота», чтобы не забыть язык. Может выйти интересная история, когда при регистрации я укажу, что я преподаватель русского языка. Возможно, речь о *единичном случае*, и последствия этого едва предсказуемы. Бог его знает, какими вынужденными окольными путями я, может, доберусь до России, если с моим знанием языка попадусь в их когти.

8 часов. Сейчас над всей суматохой дня захлопнется крышка, и этот вечер, со всем покоем и концентрацией, на которую я способна, будет моим. На письменном столе между двумя вазочками с лиловыми фиалками стоит желтая чайная роза. «Биттер-часа» больше нет. S., совершенно опустошенный, спросил: «Как только Леви выдерживают это каждый вечер, я больше не могу, мне ужасно плохо». Но сейчас все слухи, факты я оставлю позади себя и весь вечер буду учиться и читать. Как, собственно, получилось, что ничего из волнений и страхов этого дня не пристало ко мне, что я, как *неприкосновенная,* сижу здесь, за моим

письменным столом, полностью сосредоточившись на учебе, сижу так, будто ничего другого и нет на свете. Многое, не оставив никакого следа, слетело с меня, и я чувствую себя *способной к восприятию,* как никогда прежде. Вероятно, через неделю все голландцы пройдут проверку на пригодность. День ото дня отпадает все больше желаний, стремлений, отношений с другими людьми. Я готова ко всему, я отправлюсь в любое место этой Земли, куда Бог пошлет меня, и в любой ситуации, до самой смерти готова свидетельствовать, что жизнь прекрасна и полна смысла. И в том, что все так произошло, божьей вины нет, а есть только наша. Нам была дана возможность использовать все наши способности, но мы должны еще научиться с ними обращаться. Кажется, что каждое мгновение с меня спадает все больше груза, словно для меня упраздняются все границы, которые разделяют людей и народы. Временами мне представляется, будто жизнь для меня стала прозрачной, и сердца людей тоже, и я смотрю, смотрю и, все больше понимая, внутренне становлюсь все спокойнее. Во мне живет вера в Бога, которая своим стремительным ростом почти пугает меня, но которая становится все более мне присуща. А теперь — работать.

Четверг [9 июля 1942], 9.30 утра. Нужно снова забыть такие слова, как Бог, Смерть, Горе, Вечность. Нужно снова, как проросшее зерно или падающий дождь, стать простым и бессловесным. Только быть.

Действительно ли я полностью честна перед собой, когда говорю: «Надеюсь, я поеду в трудовой лагерь, чтобы помогать шестнадцатилетним девочкам»?

Говорю для того, чтобы с самого начала сказать остающимся здесь родителям: «Не волнуйтесь, я буду присматривать за вашими детьми».

Когда, обращаясь к другим, я говорю, что бежать и прятаться нет вообще никакого смысла, что нет иного выхода, что мы должны идти со всеми и пытаться, как только можем, помогать другим, — в этом слышится слишком сильная покорность судьбе. Звучит что-то, что я вовсе не имею в виду. Не могу еще найти верный тон для моего цельного, светлого, включающего в себя и страдания и жестокость чувства. Говорю неуклюжим языком философии, будто для облегчения собственной жизни придумала утешительную теорию. Пока что мне бы научиться молчать и всего лишь быть.

Пятница [10 июля 1942], утро. Вот, извольте, один раз —

Гитлер, другой — Иван Грозный, один раз — безропотное смирение, другой — войны, чума, землетрясение или голод. Решающим в итоге является то, как справляться с бедами, столь важными в этой жизни. Как их внутренне переработать, чтобы, пройдя через все, спасти неповрежденный кусочек своей души.

Позже. Обдумываю, ломаю голову над тем, как в такой короткий срок покончить с гнетущими повседневными заботами, но они, как застрявший в глотке ком, при каждом вдохе причиняют мне боль. Подсчитываешь, ищешь, прерываешь на какое-то время занятия, ходишь туда-сюда по комнате, кроме того, еще болит живот и т. д. И вдруг в тебе снова возникает уверенность: когда-нибудь, если я все переживу, я буду об этом времени писать истории, буду выводить их тонкими штрихами, выделяющимися на огромном безмолвном фоне Бога, Жизни, Смерти, Горя и Вечности. Иногда, как вредные насекомые, на нас нападают беспокойства. Ну да, тогда немного расчесываешь себя, хотя при этом слезает кожа, а затем все с себя стряхиваешь. Время, на которое я могу еще здесь остаться, рассматриваю как особый подарок, небольшой отпуск. В последние дни я прохожу сквозь жизнь, словно несу в себе фотопластинку, вплоть до последних подробностей безошибочно запечатлевшую все, что окружает меня. Я это осознаю, все *проникает* в меня четкими контурами. Позже, наверное, много позже, я все это однажды проявлю и отпечатаю. Чтобы найти новый язык, соответствующий новому ощущению жизни. Пока он не будет найден, ты должен молчать. И все же молчать невозможно, это тоже было бы бегством, нужно пытаться искать его, разговаривая. Переход от старого языка к новому тоже должен пройти все стадии.

Тяжелый, очень тяжелый день. Нужно, исключив все детские, личные желания, учиться нести вместе со всеми нашу *массовую судьбу*. Любой человек хотел бы спастись, и все же каждый из нас должен знать, что, если пойдет не он, на его месте будет кто-то другой. Получается то же самое: либо я, либо другой, этот или тот. Теперь это стало *массовой судьбой*, и это должно быть ясно. Очень тяжелый день. Но я всегда заново оживаю в молитве. А это я смогу делать всегда, смогу молиться даже в крошечном помещении. И ту часть *массовой судьбы*, которую буду в состоянии нести, я, как узел, еще крепче и сильнее притяну к своей спине и срастусь с ней. Я уже сейчас иду с ней по улицам.

А этой тоненькой авторучкой я должна была бы замахнуться, как молотом, и слова так же, как удары молота, сообщали бы всем о нашей судьбе, о куске истории, какой прежде никогда не

бывало. По крайней мере — в такой тотальной, организованной, охватившей всю Европу форме. И все же, чтобы когда-нибудь отразить хронику этого времени, должны выжить несколько человек. Я бы охотно стала скромным, маленьким летописцем.

Его дрожащий рот, когда он говорил: *«По всей вероятности, Адри и Дикки больше нельзя приносить мне еду»*.

11 июля 1942 года, суббота, 11 часов утра. О важных, серьезнейших жизненных вещах на самом деле можно говорить только тогда, когда слова так просто и естественно выбиваются на поверхность, как вода из источника.

И если Бог перестанет мне помогать, тогда я должна буду помочь ему. Вся Земля постепенно становится одним сплошным лагерем, избежать которого удастся лишь немногим. Мы должны пройти через эту фазу. Здесь евреи рассказывают друг другу милые вещи о том, что в Германии людей замуровывают или уничтожают ядовитым газом. Не очень разумно пересказывать подобные истории, а кроме того, ну должно же это в какой-то форме происходить. Но хоть на сей раз это уже не наша ответственность?

Со вчерашнего вечера льет почти как при всемирном потопе. Я освободила уже один ящик моего письменного стола. Нашла его фотографию, которую почти год назад куда-то засунула, но была уверена, что найду. И вот она — на дне захламленного ящика. Для меня это типично, о некоторых маленьких или больших вещах заранее знать, что с ними все будет в порядке. Особенно это касается материальных вещей. Я никогда не беспокоюсь о следующем дне. Знаю, например, что вскоре должна буду отсюда уйти, и не имею даже слабого представления о том, куда отправлюсь. И с зарабатыванием денег все выглядит очень плохо, но о себе самой я никогда не волнуюсь, знаю, что каким-то образом утрясется. Если будущие события заранее нагружать беспокойством, они не смогут органично развиваться. Во мне живет большая вера. Я верю не в то, что в моей внешней жизни все будет хорошо, а в то, что и тогда, когда будет плохо, я всегда буду принимать жизнь и видеть в ней хорошее.

Ловлю себя на том, что и в мелочах я тоже готовлю себя к трудовому лагерю. Вчера вечером гуляла с ним по набережной. Надела удобные сандалии и тут же подумала, что возьму их с собой, чтобы периодически чередовать с тяжелыми ботинками. Что же сейчас во мне происходит? Откуда эта легкая, почти резвая радость? Вчера был трудный, очень трудный день, было много выстрадано, много внутренне переработано. И все это я

преодолела и сегодня могу вынести больше, чем вчера. Каждый раз я заново знаю, что со всем справлюсь, справлюсь одна, и при этом мое сердце не очерствеет от горечи. Знаю, что и мгновения глубочайшей печали, отчаянья, оставив во мне плодотворный след, сделают меня крепче. Вероятно, именно это дает мне ощущение внутренней радости и покоя. Я полностью отдаю себе отчет в реальности обстоятельств и даже не претендую на помощь другим людям. Я всегда буду стараться, насколько это получится, хорошо помогать Господу, и если мне это удастся, ну, тогда удастся и с другими. Но не надо по этому поводу строить никаких героических иллюзий.

Спрашиваю себя, что бы я в действительности делала, окажись у меня в руках повестка с приказом через неделю отбыть в Германию. Представь себе, что она придет завтра. Что ты будешь делать? Прежде всего, никому ничего об этом не сказав, я бы забилась в самый тихий угол дома и собрала вместе все свои физические и духовные силы. Я бы остригла волосы и выбросила губную помаду. Попыталась бы еще на этой неделе почитать письма Рильке. Из плотной пальтовой ткани, что у меня есть, заказала бы себе длинные штаны и короткую куртку. Конечно, попыталась бы повидаться с родителями и многое им о себе рассказать, много утешительного. И каждую минуту, что мне оставалась, писала бы ему. Уже сейчас знаю, что умерла бы от тоски по этому человеку. В некоторые моменты, когда думаю, что должна буду его оставить и не буду больше знать, как он, — на душе становится до смерти плохо. Пошла бы через несколько дней к стоматологу, чтобы запломбировать коренные зубы, было бы действительно весело, если бы они там разболелись. Попыталась бы добыть *рюкзак* и взяла бы с собой только самое необходимое, но хорошего качества. Взяла бы Библию и, может, нашла бы местечко для тонких томиков *«Писем к молодому поэту»* и *«Часослова»*? Фотографии дорогих мне людей брать с собой не буду, но в потаенной глубине моего нутра со мной всегда будут изображения многих собранных мною лиц и жестов.

И его руки с такими выразительными, как молодые сильные ветви, пальцами будут со мной. Они в прикрывающем жесте часто будут складываться надо мной и не оставят меня до самого конца. И эти темные глаза с их добрым, нежным, изучающим взглядом будут сопровождать меня. А когда от слишком многих страданий и тяжелой работы черты моего лица станут некрасивыми, когда они разрушатся, — вся жизнь моей души сможет вернуться в мои глаза и все оставшееся сосредоточится в них. И так далее, и так далее. Это, конечно, одно из многих настроений, с которыми сталкиваешься в новых обстоятельствах.

Но это тоже одна из возможностей меня самой, часть меня, все больше одерживающая верх. А впрочем, человек — всего лишь человек. Я уже сейчас тренирую свое сердце, чтобы и тогда, когда буду разлучена со всеми, без кого не могу жить, — жизнь продолжалась. Каждое мгновение освобождаюсь от них снаружи, чтобы все сильнее концентрироваться на внутренней жизни с ними во время разлуки. Но с другой стороны, когда гуляю с ним, рука в руке, по набережной, где вчера вечером было по-осеннему ветрено, или когда в маленькой комнате меня согревают его приветливые, милые жесты, тогда снова подкрадывается вполне человеческая надежда, желание: почему мы не можем остаться вместе? Все другое, если мы только сможем быть вместе, — не в счет. Не хочу с ним расставаться. Но потом опять размышляю над тем, что, наверное, легче издали молиться за кого-то, чем видеть рядом с собой его страдания.

Настоящие дороги, связывающие человека с человеком в этом диком, сваленном в кучу мире, существуют только во внутренних сферах. Внешне мы разделены, и все дороги погребены под обломками, так что вряд ли найдешь друг друга. Возможен только непрерываемый внутренний контакт и общая судьба, и все меньше надежды остается на то, что когда-нибудь мы еще встретимся на этом свете.

Конечно, я не знаю, как будет, когда на самом деле должна буду его оставить. В ушах еще звучит его голос после утреннего звонка, вечером мы будем за одним столом вместе ужинать, а ранним утром будет прогулка и потом обед у Лизл и Вернера, а ближе к вечеру мы будем слушать музыку. Он еще здесь. И в моих самых потаенных мыслях я все еще по-настоящему не верю, что должна буду его и других покинуть. Ведь человек — всего лишь человек. В этой новой ситуации впервые заново узнаешь себя. Многие упрекают меня в равнодушии и пассивности, говорят, что я слишком легко покоряюсь судьбе. Еще они говорят, что каждый, кто может вырваться из их когтей, должен, обязан попытаться это сделать. Они говорят, что я должна подумать о себе. Но их расчет неверен. Сейчас каждый занят тем, что во имя собственного спасения пытается что-то сделать, однако многие, очень многие обречены. Пусть это прозвучит странно, но останусь ли я здесь, сошлют ли меня в лагерь, я все равно не буду чувствовать себя в их когтях. Я нахожу все эти доводы такими банальными, примитивными… Я не чувствую себя ни в чьих когтях. Пусть это и прозвучит пафосно — только в Божьих руках. И сижу ли я здесь, за таким знакомым, дорогим мне письменным столом, или через месяц буду ютиться в убогой каморке в еврейском квартале, или попаду под надзор СС в трудовом лагере, — думаю, я везде и

всегда буду чувствовать себя в руках Господа. Возможно, меня погубят физически, но больше мне не смогут причинить никакого вреда. Быть может, меня ждет отчаянье и такие лишения, какие я не могу себе представить даже в самых мрачных фантазиях. Но все это так незначительно в сравнении с чувством бесконечной дали, верой в Бога и внутренней способностью все пережить. Как знать, может, я многое недооцениваю.

Живу в ежедневной, суровой неизвестности, которая в любой момент может стать для меня определенностью, как она уже стала для слишком многих людей. Во всем вплоть до мельчайших деталей отдаю себе отчет и думаю, что при моих внутренних *«спорах»* я все же обеими ногами стою на твердейшей почве суровейшей реальности. Моя покорность — это не отречение или безволие. Внутри всегда остается место для элементарного морального возмущения этим режимом, который вот так обращается с людьми. Но происходящие события, на мой взгляд, приняли слишком гигантские, слишком дьявольские пропорции, чтобы можно было на них реагировать личной злобой или даже обостренной враждебностью. Это кажется мне несерьезным, несоответствующим *«роковой хватке»* происходящего.

Люди часто возбужденно реагируют на мои слова о том, что, мол, ничего не меняет, возьмут меня или кого-то другого, суть в том, что уйдет много тысяч. Это отнюдь не значит, что я с равнодушной улыбкой прямо-таки мчусь к своей погибели, нет, это не так. Есть чувство неотвратимости, есть примирение с неизбежным, но есть также знание того, что в конечном счете у нас ничего нельзя отнять. Вовсе не из своеобразного мазохизма я хочу любой ценой идти со всеми и быть вырванной из своего существования. Я только знаю, что никогда не чувствовала бы себя благополучно, если бы оказалась избавленной от того, что должны будут испытать многие люди. Мне говорят: «Да такой человек, как ты, обязан сохранить себя, у тебя впереди масса дел, ты должна еще так много дать другим». То, что я всегда даю, можно давать везде: здесь, в кругу друзей, где угодно в другом месте, и в концентрационном лагере тоже. Считать себя выше того, чтобы разделить неизбежность *«массовой судьбы»*, — это уж как-то слишком себя переоценивать.

А если Господь рассудит, что у меня еще много дел, ну, тогда я займусь ими после того, как пройду через все вместе с другими. Ценный ли я человек, станет понятно из того, как я буду держаться в резко измененных условиях. А если не выживу, — решающим в ответе на этот вопрос будет то, как я уйду из жизни. Речь больше не идет о том, чтобы любой ценой выстоять, речь о том, как вести себя и продолжать жить в этой ситуации. Буду

делать все, что нужно. Мои почки все еще болят, мочевой пузырь тоже не в порядке. Если получится, сделаю медицинское свидетельство. Мне рекомендуют для прикрытия подать заявление на должность при Еврейском совете. На прошлой неделе 180 человек по специальному разрешению были зачислены на работу и с тех пор, беспомощные, теснятся там целой толпой и, напоминая потерпевших кораблекрушение, как могут цепляются за дрейфующие обломки. Но я подобные действия считаю бессмысленными и нелогичными. Мне не по душе использовать какие-либо связи. И вообще, похоже, что там происходит много нечистого, что день ото дня растет озлобление против этого странного учреждения. А кроме того, все равно ведь попадешь в эту очередь, только немного позже.

Ну да, к этому времени англичане, пожалуй, могут быть уже здесь. Так говорят люди, еще питающие какие-то политические надежды. Думаю, что все надежды на внешний мир надо оставить и не предаваться никаким особым расчетам по поводу сроков и т. д.

А теперь пойду накрывать на стол.

Воскресная утренняя молитва [12 июля 1942]. Бог мой, какие тяжелые времена. Сегодня ночью впервые я лежала в темноте с воспаленными глазами и передо мной проносилось множество картин человеческого горя. Пообещаю тебе что-то, Господи, что-то небольшое: я не буду вешать на сегодняшний день тяжелый груз своих беспокойств о будущем, но для этого необходима тренировка. Для каждого дня довольно своих забот. Я хочу помочь тебе, Господи, чтобы ты не покинул меня, но я не могу ни за что поручиться. Только одно становится для меня все ясней: ты помочь нам не можешь, это мы должны помочь тебе, и таким образом в конце концов поможем самим себе. Спасти, Господи, частицу тебя в нас самих — это единственное, от этого все зависит. И, может быть, мы сможем попытаться воскресить тебя в измученных сердцах других людей. Да, Господи, и в том, что сейчас происходит, ты, кажется, тоже не многое в состоянии изменить, теперь все это стало нашей жизнью. Я не требую от тебя никакого отчета, это ты к нему позже призовешь всех нас. Чуть ли не с каждым ударом сердца мне становится понятней, что ты не можешь нам помочь, что это мы должны помогать тебе и защищать твое обитание в нас вплоть до самого конца. Есть люди, они действительно есть, до последнего момента беспокоящиеся о сохранности своего пылесоса и столового серебра вместо того, чтобы заботиться о тебе, Господи. И есть люди, желающие спасти только свое тело, представляющее собой не что иное, как

вместилище нашего ожесточения и тысячи страхов. Они говорят: «Я не попадусь в их когти», забывая при этом, что не могут быть ни в чьих когтях, пока находятся в твоих руках. Мой разговор с тобой постепенно успокаивает меня. В скором будущем будет еще очень много разговоров с тобой, и таким образом я не дам тебе покинуть меня. Ты, Господи, когда моя вера недостаточно питает тебя, видимо, тоже переживаешь скудные времена. Но поверь мне, я буду продолжать служить тебе, останусь тебе верна и не прогоню тебя из своей души.

Господи, я чувствую в себе достаточно сил для большого, героического страдания. Меня скорее пугают тысячи ежедневных маленьких забот, нападающих порой, как кусающие паразиты. Ну вот, и тогда, в отчаянии, я немного расчесываю кожу и заново каждый день говорю себе: «Пока что ты в безопасности. Тебя, как часто надеваемое, хорошо знакомое платье, окружают надежные стены гостеприимного дома. У тебя достаточно еды, и ночью тебя ждет постель с белой простыней и теплым одеялом. Значит, сегодня тебе не нужно ни одного атома твоих сил тратить на маленькие материальные беспокойства. Используй каждую минуту этого дня ему же во благо. Преврати его в твердый камень фундамента, на который смогут опереться бедные, страшные дни будущего».

Жасмин за моим домом, разоренный дождем и ветрами последних дней, разбросал по грязным, черным лужам на низкой крыше гаража свои белые лепестки. Но когда-нибудь он снова расцветет во мне, расцветет так же щедро и нежно, как цвел всегда. И аромат его, Господи, распространится вокруг твоего жилища. Видишь, как я забочусь о тебе. Я приношу тебе в это штормовое, серое воскресное утро не только свои слезы и страшные предчувствия, я приношу тебе даже благоухающий жасмин. Я буду приносить тебе все встречающиеся на моем пути цветы, так что в конце концов их соберется целая гора. Тебе должно быть у меня так хорошо, как это только возможно. Чтобы привести лишь какой-нибудь пример: если бы я была заключена в тесной камере с маленьким зарешеченным окном и мимо него проплывало облако, я принесла бы это облако тебе, Господи; во всяком случае, пока бы мне достало на это силы. Не могу ни за что поручиться, но у меня, как ты мог заметить, самые лучшие намерения.

А сейчас я отдамся этому дню. Встречусь со многими людьми, и меня, как вражеские солдаты неприступную крепость, будут атаковать злые слухи и угрозы.

14 июля [1942], вторник, вечер. Каждый должен жить в

соответствии со своим стилем. Активное поведение во имя, так сказать, мнимого спасения кажется мне таким бессмысленным, я сразу становлюсь беспокойной и несчастной. Заявление в Еврейский совет с просьбой о работе, написанное мной по настоятельной рекомендации Яапа, вывело меня сегодня из состояния покоя и равновесия. Словно это в какой-то мере был недостойный поступок. Словно после кораблекрушения в бескрайнем океане толкаться вокруг дрейфующего обломка корабля. И спасется тот, кто, оттолкнув другого в сторону, даст ему утонуть. Это все так недостойно, и мне отвратительна эта возня. Я принадлежу к людям, которые, лежа на спине, лучше еще мгновение с поднятыми в небо глазами будут плыть, а потом с покорным хладнокровием утонут в океане. Все равно я не могу по-другому. Я постоянно сражаюсь с демонами внутри себя, сражаюсь посреди тысячи напуганных людей, против которых сражаются дикие и одновременно как лед холодные фанатики, желающие нашей гибели. Нет, это не мое занятие. Не знаю почему, но мне не страшно, я так спокойна, и порой мне кажется, будто я стою высоко наверху, на башне дворца истории, стою и обозреваю далекий ландшафт. Переживаемый нами сейчас фрагмент истории я могу перенести, не будучи им сломленной. Я точно вижу, что происходит, и при этом сохраняю ясную голову. Иногда, правда, словно слой пепла ложится на мое сердце. И тогда я вижу, как увядает, исчезает мое лицо, а за моими серыми чертами, шатаясь, одно за другим падают в бездну столетия. Все расплывается перед глазами, и сердце покидают все надежды. Это только мгновения, я сразу же овладеваю собой, голова снова становится ясной, и я, не поддавшаяся разрушению, могу вносить свою лепту в историю. Если, однажды начав бродить за руку с Богом, ты продолжаешь это делать, тогда вся твоя жизнь превращается в сплошное странствие. Удивительное чувство.

Я понимаю небольшой период истории и часть людей. Пишу сейчас неохотно. Кажется, что под моей рукой слова мгновенно тускнеют, стареют и требуются новые слова, которым еще долго не быть рожденными.

Если бы я могла записать многое из того, что думаю и чувствую и что мне молниеносно становится понятным о жизни, людях и Боге, — могло бы получиться что-то грандиозное, я уверена в этом. Нужно, постоянно тренируя свое терпение, дать возможность созреть всему, что во мне есть.

Мы слишком далеко заходим в страхах за свое жалкое тело. А где-то в углу усыхает наш дух, этот забытый нами дух. Живем неправильно, ведем себя недостойно. Имеем слишком мало исторического сознания. Правда, имея его, можно тоже

погибнуть. Во мне ни к кому нет ненависти. Нет ожесточения. Если однажды в тебе расцвела любовь ко всем людям, она вырастает во что-то необъятное.

Многие, если бы знали, как я чувствую и думаю, назвали бы меня чуждающейся действительности дурой. И все-таки я живу в той действительности, которую приносит мне каждый день. Западный человек не воспринимает страдание как нечто относящееся к жизни. И поэтому он из страдания никогда не черпает позитивные силы. Хочу снова отыскать несколько фраз из письма Ратенау, которые я для себя когда-то переписала. Вот они. Позже мне будет этого не хватать: нужно лишь протянуть руку, и уже найдены слова и фрагменты, которые в этот момент хочет вобрать в себя моя душа. Нужно все нести в себе. Нужно уметь жить и без книг, и без чего угодно другого. Но всегда будет маленький видимый кусочек неба, и всегда вокруг меня будет место для сложенных в молитве рук.

Сейчас 11.30 ночи. Вейл берет на плечи слишком тяжелый для его щуплой спины рюкзак и пешком идет на вокзал. Я иду с ним. Этой ночью глаза вообще не должны закрываться, нужно только молиться.

Среда [15 июля 1942], утро. Видимо, вчерашней ночью я все же недостаточно молилась. Во мне только тогда разыгралась захлестнувшая меня буря, когда утром я прочла его короткое письмо. Я как раз была занята подготовкой стола к завтраку, когда вдруг прервала это, остановилась посреди комнаты, сложила руки, низко опустила голову, и слезы, долго сдерживаемые мною слезы потекли по лицу. И я почувствовала столько любви, сострадания и нежности, столько внутренних сил, что вскоре мне стало легче. Читая его письмо, я ощущала в себе глубочайшую серьезность.

Наверное, это прозвучит странно, но его неразборчивые, беспорядочные каракули — для меня первое письмо настоящей любви. У меня целый чемодан так называемых любовных писем, мужчины писали мне так много пылких, нежных, обещающих, полных любовной тоски слов, которыми они пытались разжечь и себя, и меня. И часто это была всего лишь мимолетная вспышка.

Но вчера эти слова от него: *«Знаешь, у меня так тяжело на душе»*, и сегодня утром: *«Милая, я хочу продолжить молитву!»* — драгоценнейший из когда-либо преподносимых моему избалованному сердцу подарков.

Вечером. Нет, я не верю, что погибну. Сегодня днем —

приступ отчаяния и скорби, не из-за происходящего вообще, а просто из-за себя самой. Мысль, что нужно будет оставить его одного. Еще ни разу во мне не было горечи от тоски по нему, а только от тоски, которая будет у него по мне. Несколько дней назад я думала, что если придет повестка, это больше для меня ничего не будет значить, потому что я уже заранее все пережила и выстрадала. Но сегодня внезапно представилось, что потрясение будет значительно сильнее, нежели я до сих пор думала. Было очень тяжело. Господи, я изменила тебе, но не совсем. Это хорошо, пережить такой момент отчаянья и временного угасания; безмятежное спокойствие было бы сейчас почти сверхчеловеческим. Но теперь я снова знаю, что справлюсь с любым отчаяньем. Сегодня днем я не могла представить себе, что вечером буду опять спокойно, сосредоточенно сидеть за письменным столом. От отчаянья, от страшного, большого горя во мне будто все погасло, я перестала понимать взаимосвязь вещей. А потом снова тысячи маленьких забот, боль в ногах после получасовой ходьбы и такая сильная головная боль, что череп почти раскалывался и т. д. Теперь все позади. Знаю, я буду часто еще лежать на божьей земле разбитая и уничтоженная. Но верю: я упорная и всегда снова буду подниматься. Хотя разыгравшийся во мне сегодня днем отупляющий процесс дал мне представление о том, что могут сделать с тобой по прошествии лет экстремальные обстоятельства. Но сейчас моя голова яснее, чем когда-либо. Завтра надо подробно поговорить с ним о нашей судьбе и о нашем к этому отношении. Да, обязательно!

Мне уже принесли письма Рильке с 1907 по 1914 и с 1914 по 1921 год, и я надеюсь, что смогу еще их прочесть. И также письма Шуберта. Их принесла Йопи. Ее пуловер из чистой овечьей шерсти — защита от дождя и холода. Она, как второй св. Мартин, стянула его с себя и отдала мне. Пока что это моя одежда в дорогу. Смогу ли я все же взять с собой оба тома «Идиота» и маленький карманный словарик, вложив их между одеялами? Лучше взять немного меньше продуктов, если при этом появится место для книг. Меньше одеял я не могу взять, и без того замерзаю почти до смерти. Сегодня днем в коридоре лежал рюкзак Хана, и я тайком примерила его; не очень вместительный, но, честно говоря, несмотря на это, — слишком тяжелый для меня. Ладно, я все же в божьих руках. И мое тело со всеми его болячками тоже. Если когда-нибудь я буду сбита с ног, растеряна, — мне, чтобы не пропасть, нужно в каком-нибудь тайном уголке моего существа знать, что я снова поднимусь.

Я иду дорогой, по которой меня ведут. И каждый раз, сознавая это, знаю лучше, чем когда-либо, что мне делать. Не как

нужно действовать, а что при необходимости я узнаю об этом.

«Милая, я хочу продолжить молитву».

Я так его люблю.

И снова сегодня спрашиваю себя, не легче ли молиться за кого-то, будучи с ним внутренне связанным, на расстоянии, чем видеть его страдания рядом с собой? Будь что будет. Самая большая опасность для меня состоит в том, что от любви к нему мое сердце однажды может остановиться.

Сейчас хочу еще немного почитать.

Когда я молюсь, никогда не молюсь за себя, всегда за других, или же веду сумасшедший, детский или смертельно серьезный диалог с тем, что во мне является самым глубоким и что удобства ради я называю Богом. Не знаю, мне кажется таким несерьезным выпрашивать что-то для себя. Надо будет завтра все-таки спросить его, молится ли он за себя. Тогда, пожалуй, и я должна за себя молиться. Просить о том, чтобы кому-то было хорошо, я точно так же нахожу ребячеством. Можно просить лишь о том, чтобы ему хватило сил выдержать самое тяжелое. Когда о ком-то молишься, передаешь ему часть собственных сил.

Многие люди в большинстве случаев страдают оттого, что, будучи внутренне совершенно не подготовленными, они прямо гибнут от страха, гибнут раньше, чем увидели трудовой лагерь. Такая позиция делает нашу катастрофу абсолютной. Да, в сравнении с этим Дантов ад — легкомысленная оперетта. *«Это ад»* — беспристрастно и совсем просто определил он на днях. Бывают минуты, когда я как бы слышу внутри себя вой, пронзительный крик, свист. И тучи нависают низко, грозно. А все равно время от времени во мне появляется легкий, игривый юмор, никогда полностью не покидавший меня, но который, как я по меньшей мере думаю, не является юмором висельника. Постепенно в течение этого времени я привыкла к таким моментам, так что больше не впадаю в смятение, могу ясным взглядом рассматривать события и жить дальше. Все же то, чем я здесь, за моим письменным столом, последние годы занималась, не было только «литературой» и *прекраснодушием*.

А эти полтора года возмещают целую жизнь, полную горя и гибели. Они срослись со мной, стали частью меня самой, за это время во мне накопился запас, которым, не испытывая чрезмерной нужды, можно питаться всю жизнь.

Позже. Хочу для тяжелейших моих моментов запомнить и никогда не забывать, что Достоевский провел четыре года в сибирской тюрьме с Библией как единственным чтением. Он никогда не мог побыть один, и особой гигиены там тоже не было.

15 июля Этти получила место в отделе культуры при Еврейском совете («юденрате»).

[Я. Г. Гарландт]

16 июля [1942], 9.30 вечера. Господи, у тебя что, изменились связанные со мной планы? Могу ли я такое предположить? Но и впредь я на все готова. Завтра я отправляюсь в ад, и, чтобы там работать, нужно хорошо отдохнуть. Позже о сегодняшнем дне я буду рассказывать целый год. Яап и Лопойт, старый приятель, который сказал: «Я ни в коем случае не допущу, чтобы Этти угнали в Германию». Я сказала Яапу после того, как Лео де Вольф снова избавил нас от нескольких часов ожидания: «Чтобы все это окупить, я в будущем должна буду сделать очень много доброго для других. В нашем обществе есть что-то прогнившее, и это несправедливо». Лизл остроумно заметила: *«Поэтому именно ты оказалась жертвой протекции»*.

И все-таки там, в коридоре, посреди давки и несвежего воздуха, я прочла несколько писем Рильке. Продолжаю жить так, как привыкла. Но этот смертельный страх на лицах. Все эти лица, Боже мой, эти лица.

Уже иду в постель. Надеюсь там, в этом сумасшедшем доме, создать крупицу покоя. Буду рано вставать, чтобы с самого начала сконцентрироваться на этом. Господи, какие у тебя на меня планы? Повестка не успела по-настоящему проникнуть в мое сознание, через несколько часов я от нее освободилась. Как это могло так быстро произойти? Он сказал: «Сегодня днем я читал твой дневник и понял, что с тобой ничего не случится». Я должна что-то сделать для Лизл и Вернера, должна. Не опрометчиво, а очень обдуманно. Самое лучшее — сунуть Лопойту в карман письмо.

Произошло чудо, и это тоже нужно суметь принять, пережить.

19 июля [1942], воскресенье, 9.50 вечера. Я бы долго еще с тобой разговаривала, Господи, но надо идти спать. Я сейчас как оглушенная, и если в 10 не лягу, могу не выдержать завтрашний день. А впрочем, чтобы сказать обо всем, что в последние дни тронуло мое сердце, мне надо найти полностью новый язык. Уже давно, Господи, я не понимаю, что с нами и с этим миром происходит. Очень хочется еще долго жить и вместе со всеми вынести все, что будет на нас возложено. Эти последние несколько дней, Господи, эти последние дни!! И эта ночь. Он

дышал в своем обычном ритме. А я под одеялом говорила: «Давайте вместе молиться». Нет, не могу пока говорить обо всем, что было в эти последние дни и вчерашней ночью.

И все же я избрана тобой, Господи. Ты позволил мне в этой жизни во всем так интенсивно участвовать, ты наградил меня достаточной силой, чтобы все вынести. И мое сердце способно выдерживать такие большие, такие сильные чувства. Когда вчера в 2 часа ночи, наконец-то поднявшись в комнату Дикки, я, почти голая, полностью *выжатая,* опустилась на колени, — сказала: «За этот день и ночь я очень много пережила. Благодарю тебя, Господи, за то, что смогла все это испытать и что ты так немногому дал, не коснувшись меня, пройти мимо».

А теперь спать.

20 июля [1942], понедельник, 9.30 вечера. Безжалостно, безжалостно. Но тем милосерднее мы должны быть внутренне. Об этом сегодняшним ранним утром была моя молитва:

> Господи, эти времена слишком тяжелы для таких хрупких существ, как я. Знаю, потом опять придут другие, гуманные времена. Мне бы так хотелось остаться жить, чтобы сберечь всю человечность, которую я, вопреки всему, что ежедневно переживаю, спасаю для них. Единственное, чем мы можем подготовить приход нового времени, это уже сейчас начать готовить его в нас самих. Внутренне я чувствую себя как-то очень легко, во мне нет озлобления, и я ощущаю в себе так много сил и любви. С радостью осталась бы жить, чтобы, сохранив все несокрушимое, что есть во мне, помочь созданию нового времени, которое непременно придет. Ведь оно с каждым днем приближается, я же чувствую. Такой примерно была сегодня моя утренняя молитва. Я спонтанно опустилась на жесткий кокосовый коврик в ванной комнате, и слезы струями текли по моему лицу.

И я верю, молитва помогла мне и дала силы на весь день.

Сейчас прочту еще один небольшой рассказ. Несмотря ни на что, я продолжаю сохранять свой жизненный уклад, даже когда с 10 утра до 7 вечера печатаю на машинке тысячи писем и со стертыми до крови ногами в 8 прихожу домой, чтобы еще что-то поесть. Я всегда найду для себя час времени. Останусь верна себе, не покорюсь, не позволю себя сломить. Как бы я смогла выдержать эту работу, если бы не черпала каждый день силы из своего же спокойствия и хладнокровия?

Да, мой Бог, деля с тобой все превратности судьбы, я очень

верна тебе, и я не погибну. Я все еще верю в глубокий смысл этой жизни и знаю, как мне жить дальше, я чувствую в себе большую уверенность, которая есть и у него. Тебе это кажется непостижимым, но я нахожу жизнь прекрасной, и я так счастлива. Разве это не поразительно? Я бы не осмелилась с кем-нибудь другим так подробно говорить об этом.

21 июля [1942], вторник, 9 вечера. Сегодня под вечер, во время долгого пути домой, когда меня снова охватило непрекращающееся беспокойство, я сказала себе: «Если уж ты заявляешь, что веришь в Бога, тогда будь последовательна и полностью доверься, предайся ему. Но в таком случае тебе не надо волноваться о завтрашнем дне». Я шла сегодня с ним вдоль набережной и благодарна тебе, Господи, за то, что это все еще возможно. Если только пять минут за день я смогу побыть с ним вместе, это будет компенсировать весь этот полный тяжелой работы день. Он сказал: *«Ох, все эти наши тревоги»*. И я в ответ: «Мы, если в нас жива вера, должны быть последовательны, и доверие наше должно быть полным».

Я кажусь себе сосудом, предназначенным для того драгоценного кусочка жизни, за который я несу ответственность. Чувствую себя ответственной за большое, прекрасное ощущение жизни в себе, которое должна постараться перенести невредимым через эти времена в лучшие. В этом-то все дело. Постоянно осознаю это. Бывают моменты, когда думаю, что должна покориться, сдаться, но всякий раз побеждает это чувство ответственности за сохранение в себе настоящей живой жизни. Сейчас прочту еще несколько писем Рильке и потом пораньше отправлюсь в постель. Что касается моей личной жизни, — вплоть до сегодняшнего дня все бесконечно хорошо.

В обстановке, средней между адом и сумасшедшим домом, печатая настоятельные прошения, я в промежутках читала Рильке. И он сказал мне так много, будто читала я, уединившись в моей тихой комнате.

> «Но, по меньшей мере, я открыл в себе жест, позволяющий одно великое противопоставлять другому не с целью избавления от тяжести, которая во всем великом огромна, а во всем непостижимом бесконечна, а чтобы всегда вновь находить ее все на том же возвышенном месте, на котором, безмерно вырастая поверх наших перепутанных печалей и невзирая на них, — она продолжает свою жизнь».

И вот что мне хотелось сказать еще: думаю, я постепенно приближаюсь к той простоте, к которой всегда стремилась.

22 июля [1942], 8 часов утра. Господи, дай мне силы, не только душевные, но и физические. В момент слабости честно признаюсь тебе: если я должна буду уйти из этого дома, то не знаю, что мне делать дальше. Но я не хочу ни одного дня заранее беспокоиться об этом. Сними с меня эти волнения, потому что, если ко всему прочему я должна буду выдерживать еще и их, — просто не смогу дальше жить.

Сегодня я очень уставшая, полностью разбитая, и у меня не хватает духа продолжать эту работу. Не особенно верю в ее смысл, и если так будет и дальше, то это совершенно вымотает меня. И тем не менее я благодарна тебе за то, что ты не дал мне сидеть за моим тихим письменным столом, а поставил меня в самый центр страданий и волнений этого времени. В идиллии общения с тобой в безопасном кабинете не было бы ничего сложного. Сейчас нужно сохранить тебя целым и невредимым внутри себя, и, как я обещала, любой ценой остаться верной тебе.

Когда я вот так иду по улицам, я много раздумываю о твоем мире, то есть это, собственно говоря, нельзя назвать «раздумьями», скорее это попытка проникнуть в него с помощью нового органа чувств. Порой мне кажется, что я могу окинуть взглядом это время как некий исторический этап, начало и конец которого я вижу, и могу *определить* его место в целой истории.

И поэтому я так благодарна за то, что во мне нет и малейшего ожесточения, нет ненависти, за то, что во мне есть душевное спокойствие, которое не является покорностью, и за то, как бы странно это ни звучало, что каким-то образом я даже понимаю это время! Если понять людей, можно понять и время, так как оно осуществляется через нас, людей. Оно такое — какое есть, и мы должны его понимать, хотя, зачастую сбитые с толку, оказываемся перед ним бессильны. Я всегда буду идти своей собственной, вымощенной добром и верой внутренней дорогой, которая становится все проще.

23 июля [1942], четверг, 9 часов вечера. Мои красные и желтые розы совсем уже распустились. Пока я была там, в аду, они здесь тихонько цвели. Многие скажут: «Как можно сейчас думать еще и о цветах?»

Вчера вечером, после долгой дороги под дождем с моими волдырями, я все же прошла немножко дальше, до тележки с цветами, и пришла домой с большим букетом роз. И теперь они тут стоят. Они так же реальны, как те беды, которые каждый день

я переживаю вместе с другими. В моей жизни есть место для многих вещей. И во мне, Господи, много места. Проходя сегодня через переполненный коридор, я вдруг почувствовала сильное желание опуститься на колени прямо там, посреди всех людей. Единственно достойное человека действие, оставшееся нам в это время, — это стать перед Господом на колени. Каждый день я узнаю о людях что-то новое и все отчетливее вижу, что человек человеку помочь не в состоянии, что все больше нужно рассчитывать на свои собственные внутренние силы.

Когда мы говорили о том, как важно не утратить смысл жизни, он сказал: «Смысл жизни — не сама жизнь».

Последнее время я часто повторяю: «Это уже полное свинство». Но сегодня мне пришло в голову, что это слово не следует употреблять так часто, оно повисает в атмосфере, однако никак ее не улучшает.

Больше всего удручает то, что среди людей, с которыми я работаю, почти нет никого, чей бы внутренний горизонт расширялся. Они и страдают не по-настоящему. Они ненавидят, они оптимистично ослеплены собственной персоной, они занимаются интригами и тщеславны в своих должностенках. Это большой грязный хлев, и бывают минуты, когда, в совершенном унынии положив голову на пишущую машинку, мне хочется сказать: «Я больше так не могу». Но все продолжается, и я все больше узнаю о людях.

Сейчас 10 часов. Вообще-то надо бы лечь спать. Но хочется еще немного почитать. Мне еще так хорошо. Лизл, отважная маленькая Лизл не спит до трех ночи, шьет сумки для одной фабрики. Вернер уже 60 часов не переодевался. В нашей жизни произошли очень странные вещи. Господи, дай нам всем силы. И главное, дай ему снова стать здоровым, не забирай его у меня. Сегодня вдруг стало так страшно, что я могу потерять его.

Господи, я обещала доверять тебе и поэтому отгоняю от себя страх и беспокойство за него. В субботу ночью буду с ним. За то, что это вообще еще возможно, не хватает слов благодарности. Этот день был очень тяжелым, но все-таки я его выдержала. Не знаю почему, но сейчас хочется сказать что-то очень хорошее, что-нибудь о розах или о моей любви к нему. Прочту еще несколько стихотворений Рильке и потом — спать.

В субботу у меня будет выходной.

Самое удивительное, что с недавних пор мой организм функционирует отлично: ни головной боли, ни боли в желудке и т. д. Иногда, правда, чувствую ее приближение, но тогда я ухожу в свой внутренний покой и остаюсь там до тех пор, пока кровь не начинает снова равномерно течь по моим венам. Возможно, мои

недуги были вызваны *причинами психологического порядка*. А мое спокойствие вовсе не вынужденное, как многие думают, и не от переутомления. Если бы год назад со мной произошло все, что происходит сейчас, наверняка через три дня я бы потеряла сознание, или была бы взвинчено-резвой, или покончила с собой. Теперь во мне — равновесие, выносливость и покой. Наблюдая за событиями, я догадываюсь о взаимосвязи вещей, хоть и не вполне ясно понимаю их. Одним словом, вопреки всему, Господи, мне очень хорошо. Все-таки не могу сейчас читать, слишком устала, завтра встану пораньше и сяду за письменный стол.

Когда мы говорили сегодня о том, что хотим остаться вместе, я снова подумала: «Ты уже сейчас так плохо выглядишь, ты ослаблен, я так люблю тебя, но было бы невыносимо видеть, как ты страдаешь и терпишь нужду. Лучше молиться за тебя издалека». Но я стерплю все, что исходит от тебя, Господи. В помощь извне я больше не верю и не рассчитываю на нее. Ни на англичан, ни на американцев, ни на революцию или бог знает на что еще. Не надо цепляться сердцем за подобные надежды. Как бы ни было — будет хорошо. Спокойной ночи.

24 июля [1942], пятница, 7.30 утра. Прежде чем начнется этот день, я хотела бы еще час интенсивно позаниматься, у меня в этом очень большая потребность и к тому же я сейчас хорошо сконцентрирована. Встала, когда чуть свет меня охватили тревоги. Господи, сними их с меня.

Не знаю, что мне делать, если он получит повестку, каким образом я тогда смогу ему помочь.

Одно мне ясно: надо внутренне все принять, ко всему быть готовым и знать, что самое главное — то, что внутри нас, — забрать не смогут. Со спокойствием, добытым таким образом, можно делать необходимые практические вещи, которыми нужно заниматься. Не ломать себе в страхе голову, а спокойно и четко думать. В решающий момент я буду знать, что мне делать.

Мои розы еще здесь. Надо отнести Яапу полфунта масла. Страшно устала. Я могу выдержать это время, я даже немного понимаю его, и если, пережив его, я потом скажу, что жизнь прекрасна и полна смысла, — мне должны будут поверить.

Но если после всех страданий горизонт не расширится, если благодаря тому, что в жизни появится истинная человечность, не отпадет все мелкое и второстепенное, — тогда все было напрасно.

Сегодня я ужинаю с ним в «Кафе де Пари». Такой выход в свет — это уже почти гротеск. Лизл сказала: *«Все-таки то, что нам дано все вынести, — это милость Божья»*.

Лизл — потрясающая женщина, действительно потрясающая. Мне хотелось бы позже написать о ней. Ничего, мы пробьемся.

25 июля [1942], суббота, 9 часов утра. День начался глупо, с разговоров о нашем «положении», как будто к нему вообще возможно подобрать слова.

Этот драгоценный подарок — выходной день — нужно использовать во благо. Я не должна много говорить и расстраивать окружающих меня людей. Этим утром надо будет дополнительно подпитать свой дух. Я замечаю все возрастающую потребность переработать в своей строптивой душе все происходящее вокруг, и подтверждением этому была последняя неделя. В этот «сумасшедший дом» я продолжаю ходить своей собственной внутренней дорогой. В маленьком помещении переговариваются 100 человек, стучит пишущая машинка, а я сижу где-нибудь в углу и читаю Рильке. Вчера утром неожиданно выяснилось, что мы должны переехать. Из-под нас были вытащены стулья и столы, рядом в ожидании чего-то крутились люди, звучали приказы и ответные приказы, вокруг каждого стула шли споры, но Этти сидела в углу на грязном полу между своей пишущей машинкой и пакетом с бутербродами и читала Рильке. Я забочусь о собственном социальном законодательстве и действую так, как это присуще мне. Во всем этом хаосе, в этом бедствии я сохраняю свой собственный ритм и могу в любое время между печатанием писем углубиться в важные для себя вещи. Я не запираюсь от происходящего вокруг меня горя, я ничего этим не притупляю. Я все претерпеваю и все храню в себе, но при этом невозмутимо иду своей дорогой. Вчера был безумный день. День, когда проявился мой почти сатанинский юмор, и я вдруг снова показалась себе озорным ребенком.

Господи, огради меня от одного: не допусти, чтобы я попала в один лагерь с теми людьми, с которыми ежедневно здесь работаю. Позже я смогу написать об этом сотню сатирических рассказов. И потом, знаешь, в этой жизни есть еще много заманчивых возможностей: вчера я с ним ела запеченную речную камбалу. Незабываемо! Это относится и к цене, и к качеству. А сегодня в 5 вечера я отправлюсь к нему и останусь до самого утра. Мы будем читать, писать, мы будем вместе весь вечер, ночь и за завтраком. Да, такое еще есть. Со вчерашнего дня опять чувствую себя сильной и радостной. Совсем нет страха, и за него тоже. Полная свобода от беспокойств. Благодаря постоянной беготне на ногах образовались сильные мускулы. Быть может, когда-нибудь я еще пройду через всю Россию?

«Пришло время следовать словам „Возлюбите врагов

своих“», — сказал S. И если мы это говорим, значит, нужно верить в то, что такое возможно? Хочу еще кое-что тронувшее меня вчера из Рильке переписать, ибо это, как очень многое из него, тоже относится ко мне.

Постоянно расширяясь, во мне поселилось огромное молчание. И вокруг него словно течением уносится множество слов, которые лишь утомляют, потому что ими ничего нельзя выразить.

Чтобы найти те немногие, самые необходимые, следует все чаще отказываться от ничего не говорящих слов. А тем временем молчание взрастит новые выразительные возможности. Сейчас 9.30. До 12-ти хочу оставаться за этим столом. Между книгами разбросаны лепестки роз. На меня открыто смотрит единственная цветущая желтая роза. Те 2,5 часа, что у меня есть, кажутся мне годом уединения. Я так благодарна за них и за постоянно растущую во мне собранность.

27 июля 1942 года. В любой момент своей жизни нужно быть готовым к тому, чтобы пересмотреть ее и на другом месте начать совершенно другую. Я избалованна и недисциплинированна.

Несмотря ни на что, я, видимо, еще слишком люблю наслаждаться жизнью. Со вчерашнего вечера нахожусь в таком состоянии, что ничего другого не могу сказать, как то, что я, в сущности, ужасно неблагодарная. Многим из того хорошего, что дали мне эти выходные, можно было бы питаться всю неделю, даже если бы она ничего, кроме несчастья, не принесла. Я действительно эгоистична по отношению к другим машинисткам. Считая эту работу невероятно тупой и бессмысленной, я пытаюсь, насколько это возможно, уклоняться от нее. С самого утра я так недовольна, расстроена, так критична, как этого уже давно не было. И речь здесь ни в коем случае не идет о большом «страдании», речь о собственном незначительном недовольстве и упущении. Меня печалит, что все ценное и доброе, что было в этих выходных днях, рассыпалось, растворилось из-за такого пустяка. Довольно ординарная машинистка, хотевшая изобразить из себя начальника, сказала, когда я в пять часов собиралась потихоньку скрыться: «Послушай-ка, так нельзя. Инструкцию нужно перепечатать еще раз, и с твоей стороны не по-товарищески, что ты хочешь уйти. На моей машинке получается только пять копий, а требуется десять. И это значит, что мне придется все печатать дважды».

Так тосковать по своим друзьям, страдать от болей в спине и

при этом каждой своей клеточкой восставать против таких требований. У тебя ложная позиция. Ты подумай о том, что благодаря этой работе в Амстердаме ты можешь оставаться вблизи дорогого тебе человека. Ты и в самом деле достаточно хорошо устроилась. Вчера днем мне особенно бросилось в глаза, до чего серо, безотрадно, недостойно и бесперспективно все это предприятие. *«Покорно прошу об освобождении от службы в Германии,* потому что я уже работаю на вооруженные силы и необходима здесь». Как это прискорбно. И в то же время я настаиваю: если мы здесь чем-то светлым и сильным не дадим отпор этому хаосу, он заново начнется где-нибудь в другом месте, и тогда мы пропали, пропали окончательно и навсегда. Даже если путь к светлому, к новому сейчас и засыпан, я все равно найду его. Как я устала, как подавлена. У меня всего полчаса, а мне хотелось бы писать до тех пор, пока все, что сейчас так внезапно подавило меня, не отпустит. Надо уже идти. Буду пробираться сквозь тесное, темное подземелье, пока снова не достигну открытого места с дневным светом.

Вчера днем в узком, переполненном людьми коридоре я 1,5 часа ждала Вернера. Прижавшись к стене, сидела на табурете, а люди проталкивались, перелезали через меня. Я сидела там, держала на коленях томик Рильке и читала. Читала по-настоящему сконцентрированно, глубоко погрузившись в суть, и, найдя строчки, которых мне может хватить на много дней вперед, сразу переписала их. А позже во дворике, что позади нашего нового места работы, я увидела стоявший на солнце мусорный бак, уселась на него и продолжила чтение.

И вечером в субботу: круг наших отношений замкнулся. Замкнулся очень просто, как что-то само собой разумеющееся. Будто меня всегда укрывало это одеяло в цветочек. И снова я прохожу вдоль каналов, образ которых все глубже врезается в мою память, так что я без них не останусь никогда. Наверное, действительно, хоть ты так противишься этой дурной работе, стоит проработать на один-единственный час дольше. Разве от тебя что-то убудет? Или это ввергнет тебя в какое-то такое состояние, будто в твоей жизни нет ничего другого? Но понимаю, мои страхи коренятся глубже, и я бы уже напала на их след, если бы у меня было время.

Сейчас снова отправлюсь в путь, буду идти вдоль канала и постараюсь, затихнув, прислушаться к тому, что происходит там, внутри. Этим днем я должна буду еще сильно *преобразиться*.

И вот еще что: я думаю, где-то во мне есть некий регулятор, предохраняющий меня каждый раз от того, чтобы из-за *дурного настроения* угодить куда-то не туда. И если я останусь честной,

искренней, если не сдамся по доброй воле и стану действительно той, кем должна быть, и буду делать то, что мне в это время подсказывает моя совесть, — тогда все будет в порядке. Думаю, что жизнь, имея на меня большие планы, предъявляет ко мне очень высокие требования, но надо прислушиваться к своему внутреннему голосу, следовать ему, надо оставаться честной, открытой и не дать себе иссякнуть.

28 июля [1942], вторник, 7.30 утра. Пускай цепочка этих дней, звено за звеном, разматывается сама, я не буду вмешиваться, я доверюсь тебе. Я все предоставлю твоей воле, Господи. Сегодня утром, обнаружив засунутый в почтовый ящик белый печатный листок, я, оставаясь совершенно спокойной, подумала: «Вот и моя белая повестка. Жаль, теперь не смогу спокойно собрать рюкзак». Затем я заметила, что мои колени дрожат. Это был регистрационный формуляр для персонала Еврейского совета. У меня еще не было удостоверения. Я предприму некоторые шаги, которые, вероятно, должна сделать. Возможно, придется долго ждать. Возьму с собой Юнга и Рильке, и надеюсь, что смогу сегодня хорошо поработать. И если в будущем мой дух не будет больше в состоянии удерживать множество образов, тогда на горизонте моих воспоминаний появятся эти два последних года. И они засияют, как прекрасный край, где я однажды была, как дома, и который все еще принадлежит мне. Вчерашний день придал мне много мужества. Он показал мне, как Бог обновляет мои силы. Чувствую, как я еще переплетена тысячью волокнами со всем, что здесь есть. И, обрывая их одно за другим, надо ничего не оставить, все забрать с собой на борт.

Бывают моменты, когда я чувствую себя маленькой птичкой, спрятавшейся в больших, защищающих меня руках.

Вчера мое сердце было птицей, попавшей в ловушку. Сейчас она снова свободна и летит себе беспрепятственно. Сегодня светит солнце. Упакую хлеб и отправлюсь в путь.

Я хотела бы позже стать летописцем всего, что с нами произошло. Для этого нужно выковать новый язык и, если у меня не будет возможности хоть изредка делать записи, хранить его внутри себя. Я буду отупевать и снова оживать, падать и подниматься, и, может быть, когда-нибудь, намного позже, найду одной мне принадлежащее спокойное место, где смогу, если понадобится, оставаться долго, даже годы, оставаться до тех пор, пока жизнь снова не забьется во мне и пока ко мне не придут слова, свидетельствующие о том, о чем обязательно нужно будет дать показания.

4 часа пополудни. День получился совсем не таким, как я думала.

8.30 вечера. Отстранившись от исторического аспекта, можно сказать, что это был день приключений, забвения долга и солнца. Я прогуляла работу, прошлась вдоль канала и посидела на корточках в углу комнаты напротив его кровати. И снова в маленькой оловянной вазе стоят пять чайных роз.

Существует различие между стойкостью и черствостью. Сегодня эти понятия часто путают. Думаю, что, за исключением моего недисциплинированного мочевого пузыря, я с каждым днем становлюсь более стойкой. Но я никогда не очерствею. Во мне постепенно начинают явственно вырисовываться некоторые вещи. Например, я не хотела бы стать его женой. Совершенно трезво и объективно констатирую: слишком велика разница в возрасте. Однажды на моих глазах один мужчина в течение нескольких лет сильно изменился. А сейчас я вижу, как меняется он. Это старый человек, которого я люблю, люблю бесконечно, и с которым внутренне навсегда останусь связана. Но «замужества», того, что законопослушные граждане называют браком, я бы не хотела. Это надо наконец-то честно сказать. Мысль о том, что я свой путь час за часом должна пройти одна, даже дает мне силы, силы, поддерживаемые любовью, которую я несу в себе к нему и к другим. Бесконечно много пар от беспомощности в спешке объединяется в последний момент. Я же хочу остаться одной и быть здесь для всех.

Никогда, разумеется, не удастся загладить того, что некоторые евреи помогают депортировать большинство остальных. Позже история вынесет за это свой приговор.

И снова то же самое: несмотря ни на что, жизнь такая интересная. Во мне всегда берет верх какое-то почти демоническое желание наблюдать за всем, что происходит, все видеть, слышать, при всем присутствовать, выхватывать у жизни ее тайны. Сдержанно изучать выражение лиц людей во время их смертной агонии. И вдруг столкнуться с собой и многому научиться, наблюдая зрелище, которое твоя собственная душа представляет из себя в это время, а потом находить для этого слова. Сейчас продолжу чтение своих старых дневников. Но не уничтожу их. Может быть, позже они помогут мне обрести себя.

У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к

сегодняшним катастрофическим событиям. Целых два года. И именно этот, решающий последний год стал прекраснейшим годом моей жизни. Я точно знаю, что связь между этой моей жизнью и той, что впереди, никогда не прервется. Ибо эта жизнь разворачивается во внутренних сферах, и ее внешний вид становится все менее существенным.

«Стойкость» сильно отличается от «черствости».

29 июля [1942], среда, 8 часов утра. В воскресенье утром я сидела в своем ярком полосатом халате в углу его комнаты на полу и штопала чулок. Бывают такие прозрачные водоемы, что на их дне можно все различить. Позволь спросить, не могла бы ты это выразить еще нелепее?

Я лишь хотела сказать, что жизнь с массой ее деталей, поворотов, волнений в этот момент лежала передо мной так же явственно, как если бы я стояла перед океаном, сквозь чью кристально чистую воду мне было видно все вплоть до самого дна. Прихожу в отчаянье, думая о том, смогу ли я действительно когда-нибудь писать? В любом случае еще очень далеко до того времени, когда я смогу описать вот такой высший момент моей жизни.

Сидишь на полу в углу комнаты любимого человека, штопаешь чулок и одновременно находишься на берегу могучего, огромного водоема, который настолько чист и прозрачен, что можно видеть его дно. Вот такое ощущение жизни в некий незабываемый ее момент. А сейчас я и правда думаю, что подхвачу грипп или что-то в этом духе. Этого не должно быть, я принципиально против. Мои еще мало натренированные ноги сильно устали от вчерашнего длинного пробега. А мне сейчас нужно еще раздобыть для Вернера удостоверение. Я войду в ту маленькую комнату наверху с той же самой приветливой невозмутимостью, как сделала это вчера для себя. И для зубного врача тоже уже пришло время. Сегодня много работы? Я тут же отправляюсь в путь. Никогда не знаешь, что уготовил тебе день, но это ничего, даже в это время не надо зависеть от того, что он тебе несет. Не преувеличиваю ли я? А если сегодня утром придет белая повестка? Кажется, депортация из Амстердама временно прекращена. Теперь началось в Роттердаме. Помоги им, Господи, помоги евреям из Роттердама.

Вероятно, между 29 июля и 5 сентября Этти не вела дневник. В ее жизни произошел стремительный

драматический поворот. Она получила вызов в Вестерборк и уехала в лагерь.

Следующим событием, радикально врезавшимся в ее жизнь, была внезапная болезнь и смерть Юлиуса Шпира.

В начале сентября 1942 года Этти получает разрешение вернуться на несколько дней в Амстердам. Она приезжает больная. В этой последней сохранившейся тетради Этти описывает смерть S., свою тоску по Вестерборку, свои воспоминания о людях, оставленных ею там, и их положение.

[Я. Г. Гарландт]

15 сентября 1942 года, вторник, 10.30 утра. Может быть, Господи, все вместе — слишком много. Теперь я вспомнила, что человек имеет и тело тоже. Я думала, что мой дух и сердце все выдержат сами. Но, напомнив о себе, тело сказало «Стоп». Лишь теперь ощущаю, как много ты дал мне пережить, Господи. Так много прекрасного и так много тяжелого. И тяжесть, как только я была готовой нести ее, снова превращалась в прекрасное. Зачастую прекрасное, великое переносить было труднее, нежели страдания, ибо оно было потрясающим. Как много страдать и любить способно маленькое человеческое сердце, Господи! Я очень благодарна тебе за то, что ты именно мое сердце в это время избрал для познания всего, что необходимо познать. Может, и хорошо, что я заболела. Правда, еще не примирившись с этим фактом, я немного ошеломлена, беспомощна, потеряна, но в то же время пытаюсь выскрести из всех уголков моего существа немного терпения, другой род терпения для совсем другого, нового состояния. И я опять использую мою старую, испробованную методику: время от времени на этих голубых линейках разговаривать с самой собой. Разговаривать с тобой, Господи. Хорошо ли это? Вне заботы о людях мне нужно лишь говорить с тобой. Я так сильно люблю людей, потому что в каждом из них люблю частицу тебя, Господи. Я везде в людях ищу тебя и нахожу. И я стараюсь откапывать тебя в сердцах других людей. Но сейчас мне необходимо терпение, много терпения и здравомыслия, это будет нелегко. И с этих пор я должна буду все делать одна. Все лучшее, все благороднейшее, что осталось от моего друга, от человека, разбудившего во мне тебя, отныне находится у тебя. В обеих комнатах, где я испытала величайшую в моей жизни радость, остался лишь по-детски беззащитный, истощенный старик. Стоя у его изголовья, я стояла перед твоей главной загадкой, Господи. Пошли мне целую жизнь, чтобы все

это постичь. В то время как сижу тут и пишу, я чувствую, что это хорошо, что я должна здесь остаться. В последние месяцы я жила очень интенсивно и, как мне стало впоследствии ясно, — истратила за это время весь свой жизненный запас. Быть может, я была слишком безрассудна в своих внутренних выходящих из берегов переживаниях? Нет, я не была слишком безрассудна, я прислушивалась к твоим предостережениям.

3 часа дня. И снова передо мной дерево. Дерево, которое могло бы написать мою биографию. Однако это больше не то же самое дерево, или это только мне кажется, потому что я сама больше не та, какой была? В метре от моей постели стоит его книжный шкаф. Мне нужно лишь протянуть левую руку, и я держу уже Достоевского, или Шекспира, или Кьеркегора. Но я не протягиваю руку. Сильно кружится голова. Ты поставил меня перед своей последней загадкой, Господи. Благодарю тебя за это. У меня есть силы на то, чтобы, сталкиваясь с такими вопросами, знать, что никакого ответа на них нет. И нужно суметь выдержать эту твою загадку.

Думаю, мне следует весь день спать, спать, освободившись от всего, что у меня на душе. Доктор вчера сказал, что я веду слишком интенсивную внутреннюю жизнь, что мало живу на земле, почти уже на границе с небом, и мое тело не выдерживает этого. Возможно, он прав. Последние полтора года, Господи! И последние два месяца! Они сами по себе как целая жизнь. Я не прожила и часа, о котором бы не сказала: «Разве не стоит этот час всей жизни, даже если я сейчас должна буду умереть?» И у меня было много таких часов. Почему мне нельзя жить и на небе? Ведь если есть небо, тогда почему нельзя на нем жить? В сущности, скорее все наоборот — это небо живет во мне. Надо подумать о словах *«внутренняя вселенная»* из стихотворения Рильке.

А сейчас надо все оставить и заснуть. Так кружится голова. Что-то не в порядке в моем теле. Очень хотела бы поскорее выздороветь. Но я все приму из твоих рук, Господи, таким, как оно будет. Я знаю, что это всегда хорошо. Я познала, что, пока несешь всю эту тяжесть, ее можно превратить в добро.

Ты видишь, я все еще страдаю от того же недуга: не могу решиться покончить с писанием. В последний момент хотела бы еще найти единственную, спасительную формулу. Найти одно-единственное слово для всего, что во мне есть, для переполняющих меня щедрых чувств, найти слово, способное выразить все. Господи, почему ты не сделал меня поэтом? Нет, ты сделал меня поэтом, и я буду терпеливо ждать, пока во мне не взойдут слова, которыми я смогу свидетельствовать, что жить в

твоем мире, Господи, прекрасно вопреки всему, что мы, люди, причиняем друг другу.

Думающее сердце барака.

Вторник, час ночи[42]. Я как-то написала, что хотела бы прочесть твою жизнь до последней страницы. Теперь она прочитана до конца. И я чувствую странную радость от того, что все вышло именно так, иначе не могло бы во мне быть такой силы, радости и уверенности.

Теперь ты лежишь там, в своих двух маленьких комнатах, ты, любимый, добрый, большой. Однажды я написала тебе о том, что мое сердце, как свободная птица, всегда будет лететь к тебе с любого места земли и всегда будет находить тебя. А в дневнике Тидэ я записала, что ты настолько стал частью изгибающегося надо мной неба, что мне надо лишь поднять глаза, чтобы оказаться рядом с тобой. И если бы, сидя в подземной камере, я увидела над собой развернувшийся кусок неба, то мое сердце, как свободная птица, полетело бы туда. И, знаешь, поэтому все так просто, страшно просто, прекрасно и наполнено смыслом.

Хотела спросить тебя еще о многих-многих вещах, хотела еще у тебя учиться. Отныне я должна все делать одна. Знаешь, я чувствую себя такой сильной, я справлюсь со своей жизнью. Силы, которыми я располагаю, высвободил во мне ты. Ты научил меня непринужденно произносить имя Господа. Ты был посредником между Богом и мною, а теперь, когда ты, мой посредник, ушел, моя дорога ведет меня прямо к Богу. Это хорошо, я чувствую это. И теперь хочу сама стать посредником для тех, до кого смогу дотянуться.

Сижу сейчас при свете маленькой лампы за моим письменным столом. На этом месте я так часто писала тебе и о тебе. Мне надо сказать тебе что-то особенное. Я еще никогда не видела мертвого человека. В этом мире, где каждый день умирают тысячи, я не видела ни одного мертвого. Тидэ говорит, что это только одна «оболочка». Я знаю это. Но то, что ты первый увиденный мною покойник, я ощущаю, как что-то очень значительное, великое.

С главными, важнейшими вещами в эти дни происходят страшные бесчинства. Целые толпы людей от страха быть угнанными заболевают или притворяются больными. Многие от страха лишают себя жизни. Я благодарна, что твоя жизнь завершилась естественным образом. Что страдания, выпавшие на твою долю, закончились. Тидэ говорит: «Эти страдания были на него возложены Богом, и теперь он избавлен от страданий, уготованных ему людьми». Ты, утонченный, добрый человек, наверное, не смог бы это выдержать? А я могу. Я это выдержу и тем самым продолжу, передам твою жизнь дальше.

Когда однажды зайдешь настолько далеко, что и в такое время, именно в такое время, ощущаешь, что жизнь прекрасна, что она полна смысла, то кажется, что все происходящее может быть только таким и другим быть не могло бы. Я снова сижу за своим письменным столом! И завтра я могу не уезжать назад в Вестерборк. Я еще раз увижу всех своих друзей, когда мы будем хоронить твои останки.

Ах, да ты ведь знаешь, так уж заведено, такой уж гигиенический людской обычай. Но мы будем все вместе, и твой дух будет среди нас, и Тидэ будет петь для тебя. Если бы ты только знал, как я счастлива, что смогу быть при этом. Я вернулась как раз вовремя, я еще поцеловала твой увядающий, умирающий рот, ты еще раз взял мою руку и поднес к своим губам. Однажды, когда я вошла в твою комнату, ты сказал: *«Путешественница»*. Ты также как-то сказал: *«Я видел такой замечательный сон, мне приснилось, что меня перекрестил Христос»*. Я стояла вместе с Тидэ перед твоей постелью, и в одно

мгновение нам показалось, будто ты умираешь. Тидэ обняла меня, я поцеловала ее дорогие, чистые губы, и она совсем тихо сказала: «Мы нашли друг друга». Как бы ты был счастлив, если бы видел нас, именно нас обеих, стоящих перед тобой. Может быть, ты и видел нас в тот момент, когда мы подумали, что ты умер?

И за то, что твоими последними словами были *«Герта, я надеюсь…»*, я тоже благодарна. Как тебе бывало трудно сохранять верность, но твоя преданность все преодолела. Знаю, я иногда делала тебе плохо, но благодаря тебе я узнала, что такое верность, что такое борьба и что такое бессилие.

В тебе было все плохое и все хорошее, что может быть в человеке. Все демоны и страсти, вся доброта и человеколюбие. Ты великий, все понимающий человек, искавший и нашедший Бога. Ты искал его везде, в каждом открывшемся тебе человеческом сердце, как же их было много, и ты везде находил частицу Бога. Ты никогда не сдавался, ты мог быть нетерпеливым в мелочах, но к важным вещам ты относился с таким терпением, с таким бесконечным терпением.

И снова именно Тидэ с ее милым, светлым лицом пришла сегодня вечером сообщить мне это. Мы недолго одни посидели в кухне. А в комнате в это время сидел мой товарищ. Позже появился папа Хан. И Тидэ прикоснулась к клавишам твоего рояля и спела короткую песню: *«Восстань, мое сердце, с радостью»*[43]. Сейчас два часа ночи. В доме так тихо. Я должна сказать тебе что-то странное, но думаю, ты поймешь это. Там, на стене, висит твоя фотография. Я хочу порвать ее и выбросить, чтобы быть ближе к тебе. Мы никогда не называли друг друга по имени. Мы очень долго говорили друг другу «вы». Много, много позже ты сказал мне «ты». И это «ты» от тебя было самым ласковым словом, когда-либо сказанным мне мужчиной. И, как ты знаешь, я по-настоящему привыкла к этому. Ты всегда подписывал свои письма вопросительным знаком, и я свои тоже. Ты начинал свои письма ко мне: *«Послушайте-ка!..»* Твое характерное *«Послушайте-ка»*. А в твоем последнем письме стояло *«Любимая»*. Но ты для меня безымянен, безымянен, как небо. И я хотела бы убрать все твои фотографии и никогда больше не смотреть на них. Это все слишком материально. Я хочу нести тебя в себе безымянным и новым, нежным, не ведомым мне прежде жестом передавать тебя дальше.

Среда [16 сентября 1942], 9 часов утра (в приемной у врача). Когда в Вестерборке я бываю среди шумно спорящих, слишком активных членов Еврейского совета, то часто думаю: «Дайте мне быть частицей вашей души. Дайте быть в бараке

пристанищем для всего лучшего, что наверняка есть в каждом из вас. Мне вовсе не нужно для этого много делать, я хочу только присутствовать. Дайте же мне быть душой этого тела. И при случае я в каждом обнаружу жест или взгляд, выходящий далеко за пределы их собственного уровня, о существовании которого они сами вряд ли подозревают. Я чувствую себя хранителем этого».

16 сентября, среда, 3 часа дня. Еще раз зайду на эту улицу. Меня всегда отделяли от него три улицы, один канал и мостик. Вчера в 7.15 он умер. В тот самый день, когда закончился срок разрешения на мою поездку. Теперь я еще раз пойду к нему. Только что была в ванной комнате. Подумала: «Сейчас впервые я увижу покойника». В общем-то, это ни о чем мне не говорит. Еще подумала, что должна сделать что-то необычное, торжественное. И опустилась в маленькой ванной комнате на колени на кокосовый коврик. Потом подумала, что это общепринято. Как же нашпигован человек обычаями, представлениями о действиях, которые, по его мнению, должны исполняться в определенных ситуациях. Иногда, в какой-то неожиданный момент, на улице или посреди разговора в самом скрытом уголке моего существа кто-то вдруг опускается на колени. И этот кто-то — я.

А сейчас там, на знакомой кровати, лежит лишь мертвая оболочка. О, это кретоновое одеяло! Собственно говоря, нет необходимости снова идти туда. Все, все происходит где-то внутри меня, на просторных возвышенностях, существующих вне времени и вне границ. А сейчас я снова пройду через эти улицы, как часто шла по ним, шла вместе с ним, всегда ведя захватывающий, насыщенный диалог. И как часто еще, в каком бы месте земли я ни находилась, на каких бы возвышенностях ни разворачивалась моя собственная жизнь, я буду мысленно проходить этими улицами. Какого лица ждут от меня сейчас, печального или торжественного? Но я ведь не грущу? Мне хотелось бы сложить руки и сказать: «Дети, я так счастлива и благодарна, и я нахожу жизнь такой прекрасной и наполненной смыслом». Да, именно такой, и в то время как стою здесь, у постели моего умершего, преждевременно умершего друга, и несмотря на то, что в любой момент меня могут депортировать в неизвестное место. Господи, я так тебе за все благодарна.

Я буду продолжать жить с тем, что навечно осталось во мне от умершего друга, и буду пробуждать жизнь в том, что теряет ее. Я буду делать это до тех пор, пока не будет ничего, кроме жизни, кроме единственной великой жизни, Господи.

Тидэ еще раз споет для него, а я, вопреки моменту, буду с

радостью смотреть и слушать ее светлый голос.

Йооп[44], друг мой, я иду с тобой. Ах нет, на самом деле это не совсем так. Время от времени разговаривая с тобой, я посвящаю тебе многие свои мысли. И благодарна, что могу передать тебе то, что обязательно должна передать.

Это так значимо, что ты вошел в мою жизнь, иначе и быть не могло. До встречи.

17 сентября [1942], четверг, 8 часов утра. Во мне сейчас такое сильное, умиротворенное ощущение жизни и такое чувство благодарности, что я даже не стану пытаться выразить это одним-единственным словом. Господи, я совершенно счастлива. Лучше всего это можно выразить опять-таки его словами *«покоиться в себе»*. И этим совершеннейшим образом, наверное, выражается мое состояние, когда я покоюсь в себе. Это «в себе» — глубочайшее и богатейшее во мне, то, в чем я покоюсь, я называю Богом. В дневнике Тидэ я часто наталкивалась на такие слова: «Отец, возьми его с нежностью в свои руки». Именно так, находясь в твоих руках, Господи, я всегда и беспрестанно чувствую себя в безопасности, защищенная и пропитанная чувством вечности. Каждый глоток воздуха, малейшие действия и незначительные суждения — все содержит в себе подоплеку и глубокий смысл. В одном из своих первых писем ко мне он написал: *«Буду рад, если смогу поделиться всей этой переливающейся через край силой»*.

Наверно, хорошо, что ты, Господи, позволил моему телу выкрикнуть «Стоп». Я должна полностью выздороветь, чтобы делать все, что нужно. Но может быть, и это тоже общепринятое представление. Даже когда тело испытывает боль, дух-то ведь может продолжать плодотворно работать? И любить, и *вслушиваться* в себя и в других, и изучать взаимосвязь вещей в этой жизни и в себе. *Вслушиваться.* Хотела бы для этого найти подходящее голландское выражение. Фактически моя жизнь — это беспрерывное *вслушивание* в себя, в других и в Бога. И когда я говорю, что *вслушиваюсь*, тогда в меня *вслушивается* Бог. Самое существенное и глубокое во мне прислушивается к самому существенному и глубокому в других. Бог вслушивается в Бога.

Как велика все-таки внутренняя нужда твоих созданий, Господи, на этой земле. Я благодарна тебе, ты допускаешь ко мне так много людей с их потаенными бедами. Они сидят такие тихие и доверчивые, говорят со мной, и вдруг наружу прорывается их неприкрытое горе. Бывает, что сидит отчаявшаяся горстка людей, не знающих, как им жить дальше. Тут-то и начинаются для меня

трудности. Чтобы отыскать тебя, Господи, в сердце другого человека, недостаточно только проповедовать о тебе. Нужно расчистить в нем дорогу к тебе, а для этого надо хорошо знать человеческую натуру. Нужно быть опытным психологом. Отношения с отцом и матерью, воспоминания детства, мечты, чувства вины и неполноценности, да, именно весь этот набор. С каждым, кто ко мне приходит, я стараюсь быть очень осторожной, осмотрительной. Мои средства для прокладывания дороги к тебе в других людях весьма ничтожны. Но все же они есть, и я буду медленно, терпеливо совершенствовать их. Я благодарна за данный мне тобой талант читать в других душах. Порой они кажутся мне домами с распахнутыми дверьми. Я вхожу, блуждаю по их коридорам и комнатам. Каждый дом обустроен немного иначе, однако они похожи между собой. Из каждой постройки нужно сделать жилье, посвященное тебе, Господи. И я обещаю тебе, обещаю, насколько мне это удастся, искать в них приют для тебя, Господи. В общем-то, забавная картина. Я иду вдоль дороги и ищу для тебя кров. Есть так много пустующих строений, в которых я поместила бы тебя как почетного гостя. Прости мне этот не слишком остроумный образ.

Вечером, около 10.30. Господи, дай мне покой, дай мне все *осилить*. Так много всего. Я должна наконец по-настоящему начать писать. Но вначале надо наладить дисциплину. Сейчас в мужском бараке выключат свет. Горит ли он там вообще? Где же ты был сегодня вечером, мой дорогой Йопи? Порой меня охватывает дикая грусть оттого, что я не могу выбежать из дверей моего барака и остановиться на огромной пустоши. Затем пройтись немного туда-сюда, и вскоре с какой-нибудь стороны ко мне подойдет мой друг с его загорелым лицом и вертикальными, пытливыми складками между глаз. Когда начнет смеркаться, издалека до меня донесутся первые звуки Пятой Бетховена.

Если бы я только могла справиться со словами, чтобы передать эти два интенсивнейших, богатейших месяца там, за колючей проволокой, ставшие моей жизнью и подтвердившие ее высочайшую ценность. Мне так полюбился этот Вестерборк, что я тоскую по нему, как по дому. А когда я засыпала на узких нарах, я тосковала по моему письменному столу, за которым сейчас сижу и пишу. Господи, я так благодарна тебе за то, что ты везде придаешь моей жизни такой красивый вид, что я тоскую по каждому месту, когда покидаю его. Но временами из-за этого жизнь дается с большим трудом. Видишь, уже миновало пол-одиннадцатого, в бараке выключили свет, и мне, пожалуй, тоже пора спать. «Пациентка должна вести спокойный образ жизни», —

значится во внушительном медицинском заключении. А еще я должна есть рис, мед и другие сказочные вещи.

Мне вдруг вспомнилась женщина с белоснежными волосами вокруг благородного, овального лица, которая держала в своем мешочке для хлеба пакетик с тостами. Это была ее единственная провизия на пути в Польшу. Она придерживалась строгой диеты. Она была ужасно милая, спокойная и по-девичьи стройная. Однажды днем я сидела с ней на солнце перед насквозь проходимыми бараками. Я дала ей одну книгу, *«Любовь»* Иоганна Мюллера, взятую мною в библиотеке S., отчего она была совершенно счастлива. Обратившись к двум молодым девушкам, позже подсевшим к нам, она сказала: «Рано утром, когда мы уедем, подумайте о том, что каждый из нас может плакать только три раза». И одна девушка ответила: «Я еще не получила свои талоны на слезы».

Сейчас около 11-ти. Как быстро прошел этот день, надо идти спать. Завтра Тидэ наденет свой светло-серый костюм и споет в кладбищенском павильоне *«Восстань, мое сердце, с радостью»*. Впервые в жизни я буду сидеть в экипаже с черными занавесками. Я еще так долго могла бы писать, день и ночь. Господи, дай мне терпение. Совсем другой вид терпения. Письменный стол снова стал мне близким, и дерево перед моим окном больше не кружится. Ты намеренно вновь посадил меня за письменный стол, чтобы я делала мое самое любимое. А теперь правда спокойной ночи.

Мне так страшно, Йопи, что у тебя там трудности, я бы с радостью помогла тебе. И я помогу. До встречи!

Воскресенье, вечер. Выразить словами, озвучить, изобразить.

Многие люди пока что остаются для меня иероглифами, но, постепенно изучая их, я их расшифровываю. Это прекраснейшее из ведомого мне — вычитывать из людей жизнь. В Вестерборке я словно бы стояла перед голым каркасом жизни, перед ее вылезающим из всех обшивок скелетом. Спасибо, Господи, что ты учишь меня читать все лучше.

Знаю, мне еще предстоит сделать выбор. И это будет очень трудно. Если я хочу писать, если хочу попытаться описать все, что настойчиво требует от меня слов, тогда я должна намного дальше, нежели сейчас, отойти от людей, должна больше бывать наедине с собой. Тогда надо накрепко запереть дверь и принять кровавый и одновременно упоительный бой с кажущейся мне

едва преодолимой материей. Отойти от маленького общества, дабы суметь обратиться к большому. Речь вообще-то не о том, чтобы обратиться к какому-то обществу. Это чисто поэтический порыв — хотеть материализовать изобилие переполняющих тебя образов. Это ведь настолько естественно, что не требует никакого объяснения. Иногда спрашиваю себя, разве я не испробовала жизнь до конца, до самого ее донышка. Я живу, наслаждаюсь и перерабатываю все вплоть до основания, без остатка. А может, ради творчества все-таки нужен вот такой не пережитый, неистраченный остаток, из которого и возникает напряжение, стимул к творчеству?

Я много, в последнее время очень много беседую с людьми. Пока что говорю образней и отточенней, чем пишу. Временами думаю, что должна не растрачивать свое время на разговоры, а, незаметно уединившись, искать на бумаге свой собственный путь. Одна часть меня тоже хочет этого, другая же не может решиться и растрачивает себя в словах среди людей.

«Макс, ты видел ту глухонемую женщину на восьмом месяце с мужем-эпилептиком?» Макс: «А сколько женщин на девятом месяце в этот момент в России выгнаны из своих домов и берутся за оружие».

Мое сердце — наполняющийся все новыми потоками страданий желоб.

Йопи, сидящий под звездным небом на пустоши, во время разговора о доме, о тоске по дому: «У меня нет никакой тоски, я ведь дома». Многое я тогда извлекла из этого «быть дома». Человек под небом — дома. Если ты все несешь в себе, то ты дома на любом клочке этой Земли.

Я часто, и сейчас тоже, кажусь себе кораблем, на борту которого находится ценный груз. Обрублены канаты, и корабль плывет, свободно плывет от берега к берегу, и весь этот груз плывет с ним. Нужно самому себе быть отечеством. Я провела с ним два вечера, прежде чем смогла заговорить об интимнейшем из интимнейшего. Мне так хотелось сказать ему об этом, словно я хотела сделать ему подарок. И тогда там, на огромной пустоши, опустившись на колени, я рассказала ему о Боге.

Конечно, доктор не прав. Наверное, раньше меня бы что-то подобное вывело из равновесия, но теперь я научилась видеть людей насквозь и иметь собственную точку зрения. «Вы ведете слишком духовную жизнь. Вы не даете волю своим страстям и

отказываетесь от элементарных вещей». Я чуть не спросила: «Разве я могу прямо здесь лечь с вами на диван?» Это бы прозвучало не особенно тактично, но его монолог метил в этом направлении. И после: «Вы не живете в реальности». Все совсем не так, как утверждает этот человек. Безусловно, реальность. Но реальность в том, что по всей земле мужчины и женщины не могут быть вместе. Мужчины на фронтах. Лагеря. Тюрьмы. Разлука. Вот она, реальность. И с ней нужно справляться. Нужно ли в одиноком, тщетном томлении совершать грех Онана? Почему любовь, которую не можешь подарить одному человеку противоположного пола, не превратить в силу, которая поможет людям и которую опять же можно назвать любовью? И стремясь к этому, разве ты не находишься на реальной почве? Разумеется, реальность не такая конкретная, как постель с мужчиной и женщиной. Но есть же и другие реальности? Это выглядит так наивно и убого, когда пожилой мужчина в это время, Бог мой, в это время несет что-то о наслаждениях жизни. Охотно попросила бы его подробнее объяснить, что он под этим подразумевает.

«После этой войны, кроме потока гуманизма, на мир также обрушится поток ненависти». И тогда я снова поняла, что буду воевать с этой ненавистью.

22 сентября [1942]. Надо жить с самим собой так, будто ты живешь с целым народом, и изучать в себе все хорошие и скверные свойства людей. И если ты хочешь простить плохое другим, сначала прости его себе. Это, наверное, самое трудное, чему надо еще человеку учиться. Я часто предлагаю другим (раньше и себе тоже, теперь уже нет) простить себе свои ошибки и заблуждения. К чему в первую очередь относится умение их признать и великодушно с ними примириться.

Я бы с радостью жила, как полевые лилии. Если правильно понять это время, можно было бы у него научиться жить так, как живет полевая лилия.

Как-то раз я записала в своем дневнике, что хотела бы кончиками пальцев ощупать контуры этого времени. Я тогда не знала, как вообще следует подходить к жизни. Не знала по той причине, что не пришла еще к жизни в самой себе. Произошло это, когда я села за этот письменный стол. А потом внезапно я была брошена в средоточие человеческих страданий, на один из маленьких фронтов, разбросанных по всей Европе. И там я вдруг испытала вот что: я начала вычитывать наше время и много больше, чем только время, из человеческих лиц, из тысячи

жестов, небольших высказываний, историй чужих жизней. Я заметила, что могу читать в других, потому что научилась читать в себе. При этом, когда чувствительными кончиками пальцев я двигалась вдоль контуров этого времени, мне и вправду часто бывало не по себе. Как это вышло, что обнесенный колючей проволокой кусок пустоши, сквозь который пронеслось столько судеб, потоки человеческого горя, я вспоминаю чуть ли не с умилением? Как случилось, что моя душа там не помрачнела, но, напротив, просветлела? Там я вычитала суть этого времени, и оно больше не кажется мне бессмысленным. Я так сильно любила жизнь здесь, за этим письменным столом, среди моих писателей, поэтов, цветов. И там, в бараках, наполненных взбудораженными, гонимыми людьми, я нашла подтверждение этой любви. Жизнь в тех продуваемых ветром бараках ни в коем случае не противоположна жизни в этой уютной, тихой комнате. Ни на одно мгновение я не была отрезана от жизни, которая будто бы уже и закончилась. Нет, она продолжается, сливаясь в сплошное, наполненное смыслом единое целое. Как должна я когда-нибудь все это описать? Описать так, чтобы другие люди смогли прочувствовать, как прекрасна, бесценна и справедлива, да, справедлива жизнь в своей основе. Может быть, однажды Бог даст мне для этого простые слова? И настолько же яркие, страстные, сильные. Но в первую очередь — простые. Как несколькими полными любви, легкими и все же уверенными касаниями между пустошью и небом нарисовать эти бараки? И как подать другим множество человеческих судеб, которые надо расшифровывать, как иероглифы, штришок за штришком, пока в конце концов не получится большое, отчетливое, понятное целое, обрамленное пустошью и небом?

Одно я знаю теперь доподлинно: никогда не смогу изложить все так, как живыми буквами это делает сама жизнь. Все это я прочла своими глазами и восприняла всеми органами чувств. Никогда не смогу так пересказать. И это могло бы ввергнуть меня в отчаянье, если бы я не знала, что, обладая даже недостаточно большой силой, нужно подойти к своему детищу и работать над ним.

Проходя мимо людей, как мимо пашни, я присматриваюсь, насколько высоко поднялись в них ростки человечности.

Я чувствую, как этот дом медленно начинает от меня ускользать. И это хорошо, на сей раз расставание с ним будет окончательным. Очень осторожно, с большой тоской, но и с

уверенностью, что должно быть так и никак иначе, я его отпускаю, день за днем.

С одной рубашкой на теле и с одной в рюкзаке, — как в той сказке Корманна о человеке без рубашки? Король, искавший по всему королевству рубашку своего самого счастливого подданного. Когда же наконец он нашел самого счастливого человека, оказалось, что у того вообще нет рубашки. Кроме рубашки, маленькая Библия и, возможно, поместится еще мой русский словарь и «Рассказы» Толстого. И может, все-таки найдется место для одного тома «Писем» Рильке. И потом еще свитер ручной вязки из чистой овечьей шерсти от одной подруги. О, у меня еще много добра, Господи. А кто-то говорил, что хочет быть лилией на лугу?

Итак, с одной рубашкой в рюкзаке я направляюсь в «неизвестное будущее». Так это называется. Но разве это не та же самая земля под моими повсюду странствующими ногами, и не то же самое — то с луной, то с солнцем — небо? И не забыть еще звезды над моей безумной головой. Зачем же тогда говорить о неизвестном будущем?

23 сентября [1942]. Ненавидя, Клаас[45], мы далеко не уйдем. В действительности вещи совсем не такие, какими они представляются нам в надуманных нами схемах. Вот, к примеру, у нас в лагере есть один работник. В мыслях я часто вижу его перед собой. Более всего в глаза бросается его непреклонный, прямой затылок. Он с такой сильной ненавистью относится к нашим преследователям и, как я предполагаю, имеет для этого веские причины. Но сам он — мучитель. Он был бы образцовым начальником концентрационного лагеря. Я часто наблюдала за ним, когда он стоял на входе в лагерь, встречая своих затравленных собратьев по расе. Это всегда было безотрадным зрелищем. Я также помню, как одному из-за чего-то заплакавшему трехлетнему ребенку он бросил пару липких, черных конфет и прямо-таки по-отечески добавил: «Смотри, не вымажи морду». Теперь я думаю, что в нем было больше неловкости и смущения, чем негодования. Просто он не смог найти верный тон. Между прочим, он слыл толковейшим юристом Голландии, и его проницательные статьи всегда были превосходно сформулированы. (В санчасти повесился человек, не забыть вычеркнуть его из картотеки!) Когда я потом видела его среди людей с его прямым затылком, властным взглядом, с вечной короткой трубкой во рту, всегда думала: «Не хватает только кнута в руке, который бы здорово ему подошел». Но я не

чувствую к этому человеку ничего плохого, более того, — он меня очень интересует. Временами я даже испытываю к нему жуткое сострадание. У него такой недовольный, лучше сказать, смертельно несчастный рот. Рот трехлетнего ребенка, который не может добиться от мамы того, что хочет. Между тем ему примерно тридцать. Такой привлекательный тип, известный юрист, отец двоих детей. Но его лицо сохранило рот недовольного трехлетнего ребенка. Разумеется, выросшего и по ходу жизни огрубевшего. Если внимательно присмотреться, он не такой уж привлекательный.

Видишь ли, Клаас, в принципе, это так: хоть он и полон ненависти к тем, кого мы называем нашими палачами, но сам он тоже стал бы отличным палачом и преследователем беззащитных. И все же мне жаль его. Можешь ты это понять? Между ним и его окружением никогда не было дружеских контактов, он мог лишь с жадностью украдкой смотреть, как другие приветливы друг к другу. (Я всегда вижу его, наблюдаю за ним, ведь жизнь там не имеет стен.) Позже я кое-что узнала о нем от одного человека, знавшего его уже много лет. Когда началась война, он выпрыгнул с третьего этажа, однако разбиться — что, очевидно, было его целью — ему не удалось. Потом он попытался броситься под машину, но и это не вышло. После этого он несколько месяцев провел в сумасшедшем доме. Это был страх, чистый страх. Он был в высшей степени блестящим, проницательным юристом, во время дискуссий между специалистами его слово всегда было последним и решающим. Но в критический момент он от страха выбрасывается из окна. Я слышала также, что его жена должна была по дому ходить на цыпочках, так как он не выносил шума, и что он был груб со своими детьми, которые страшно его боялись. Глубоко, глубоко сочувствую ему. Что же это за жизнь?

В сущности, Клаас, я хочу лишь сказать, что мы не можем предаваться ненависти к нашим так называемым врагам, у нас еще много работы над собой, поскольку мы враждебно относимся друг к другу. И я тоже не свободна от этого, если говорю, что среди наших людей есть палачи и негодяи. Я вообще не верю в то, что называют «плохими людьми». Я хотела бы, нащупав в человеке источник страха, схватить этот страх, устроить ему травлю и загнать назад, на его собственное место, ибо это единственное, Клаас, что мы можем в это время.

Клаас сделал усталый, вялый жест и сказал: «Но то, чего ты хочешь, требует времени, у нас же этого времени нет». Я ответила: «Но то, чего хочешь ты, этим люди занимаются уже две тысячи лет по христианскому летоисчислению, не говоря уже о многих тысячелетиях до того, когда тоже существовало

человечество. И каков, по-твоему, если можно спросить, результат?»

И я с той же страстностью повторила, хотя постепенно мне начинает это казаться надоедливым, потому что у меня всегда все сводится к одному и тому же: «Это, Клаас, единственная возможность, я не вижу иного пути, как заглянуть в самих себя и вырвать с корнем, уничтожить то, что приводит людей к уничтожению других. Мы должны проникнуться мыслью, что каждый атом ненависти, привнесенный нами в этот и без того негостеприимный мир, делает его еще более негостеприимным».

И Клаас, этот старый, ярый классовый борец, возмущенно и одновременно удивленно сказал: «Да, но это, но ведь это снова было бы христианство!»

И я, после внезапного замешательства, развеселившись: «А почему, собственно, и нет?»

Дай мне быть здоровой и сильной!

Как там, под луной, словно созданные из серебра и вечности, лежали в ночи бараки. Как выскользнувшие из Божьих рук игрушки.

24 сентября [1942]. «По крайней мере есть одно утешение, — со своей грубоватой ухмылкой сказал Макс. — Зимой снег тут такой высокий, что он закроет окна бараков, и тогда весь день будет еще и темно». При этом он казался себе даже остроумным. «И потом нам здесь будет тепло, уютно, так как никогда не будет ниже нуля. А в рабочих бараках мы получили две маленькие печки, — вдохновенно продолжал он. — Люди, которые их принесли, сказали, что они так хорошо горят, что сразу же лопаются».

Помогая друг другу, мы зимой вместе сможем выдержать все: холод, темень, голод. И в то же время мы должны понимать, что эту зиму мы делим со всем человечеством, и с нашими так называемыми врагами тоже, и тогда мы почувствуем, что включены в одно целое, что находимся на одном из многих разбросанных по всему миру фронтов.

Это будет деревянный барак под голым небом с трехъярусными койками с линии Мажино. В бараке не будет света, так как кабель из Парижа все еще не прибыл.

А был бы свет, не было бы бумаги для затемнения.

Я постоянно прерываюсь на самой середине. Сейчас снова

вечер. Мое тело ведет себя сегодня неподобающим образом. Под стальной лампой стоит маленький алый цикламен. Этим вечером я долго была вместе с S. и вдруг почувствовала, как во мне растет печаль, тоже присущая жизни. И тем не менее, Господи, я так благодарна, почти горда тем, что ты не отказал мне в твоей последней, величайшей загадке. Над ней можно думать всю жизнь. Но сегодня вечером у меня возникло так много вопросов к нему, и о нем самом тоже. Внезапно появилось так много непонятного. Теперь ответы надо находить самой. Какое ответственное задание. Но должна сознаться, я чувствую, что справлюсь с ним. Странно, когда звонит телефон, теперь это никогда уже не может быть его голос, который на другом конце провода отчасти приказывая, отчасти ласково говорит: *«Послушайте-ка»*. Порой это очень тяжело. Я давно уже не видела Тидэ.

Вот обогащение моих последних дней: птицы в небе, полевые лилии, Евангелие от Матфея 6, 33: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Завтра встреча с Рю Коэном в «Кафе де Пари». Пять человек на площади Адама ван Шелтема были только в ночных рубашках и шлепанцах, хотя уже очень холодно. Еще был арестован кто-то больной раком на последней стадии, а вчера вечером на Ван Барлестрат, как раз здесь, за углом, был застрелен один еврей, хотевший сбежать. И многие еще во всем мире будут расстреляны в этот самый момент, когда я пишу эти строчки, сидя рядом с алым цикламеном при свете моей стальной настольной лампы. Моя левая рука покоится на маленькой раскрытой Библии, болит голова и живот, а на дне моего сердца лежат солнечные летние дни на пустоши и желтое люпиновое поле, простершееся вплоть до пропускного барака.

Еще не прошло и месяца, как 27 августа Йооп написал мне: «И вот, болтая свешенными ногами, я сижу и прислушиваюсь к огромной тишине. Люпиновое поле, уже без ликующих красок, купается в отрадно сияющем солнце. Все величественно и спокойно, и это наполняет меня тишиной и серьезностью. Я спрыгиваю с окна, делаю несколько шагов по рыхлому песку и смотрю на луну». А заканчивает он свое ночное письмо, написанное на простой бумаге убористым, собранным почерком так: «Я понимаю, как кто-то может сказать, что здесь можно сделать только одно — стать на колени. Нет, я не сделал этого, не посчитал необходимым. Сидя на окне, я сделал это мысленно, а потом пошел спать».

Удивительно, как этот человек так неожиданно, почти бесшумно, оживляя и воодушевляя меня, вошел в мою жизнь в то

время, как мой большой друг, акушер моей души, лежал больной в постели, становясь все беспомощней. Иногда в тяжелые, как сегодня вечером, моменты я спрашиваю себя, что за намерения у тебя, Господи, по отношению ко мне. Может быть, это зависит от того, каковы мои намерения по отношению к тебе?

И снова все ночные беды, все одиночество страдающего человечества с мучительной болью проходят сквозь мое слишком маленькое для этого сердце. Что еще ждет меня этой зимой?

Позже я бы хотела путешествовать по разным странам твоего мира, Господи. Я чувствую в себе тягу к тому, чтобы, переступив через все границы на Земле, во всех твоих многообразных, сражающихся созданиях открыть что-то общее. И об этом общем я хотела бы сказать очень тихим, но не прерывающимся, убежденным голосом. Дай мне для этого слова и силы. Сначала я хочу побывать на фронтах, среди страдающих людей. Может, тогда у меня появилось бы право говорить об этом? Во мне все время, и после тяжелых мгновений тоже, как небольшая, теплая волна, поднимается чувство, что жизнь все-таки прекрасна. Это необъяснимое чувство. В реальности, которую мы сейчас переживаем, оно не находит поддержки. Но кроме той реальности, о которой читаешь в газетах, которую находишь в бездумных, возбужденных разговорах перепуганных людей, есть ведь и другая? Есть реальность этого маленького алого цикламена и огромного горизонта, которую можно обнаружить даже в шуме и сумятице этого времени.

Господи, посылай мне одну стихотворную строку в день. А если я не всегда смогу ее записать, потому что не будет бумаги, не будет света, тогда вечером под твоим необъятным небом я буду тихо читать ее наизусть. Ты только посылай мне время от времени одну-единственную маленькую стихотворную строку.

25 сентября [1942], 11 часов вечера. Тидэ рассказывала мне, что ее подруга после смерти мужа однажды сказала ей: «Бог перевел меня в старший класс, но парты здесь пока что для меня великоваты».

И когда мы говорим о том, что его больше нет (как бы ни было это странно, мы обе не чувствуем пустоты, а напротив, какую-то наполненность), Тидэ втягивает голову в плечи и говорит с какой-то отважной улыбкой: «Да, парты немного великоваты, и временами это тяжело».

От Матфея 5, 23–24: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против

тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».

Однажды в океане утонула груженная серебром флотилия. С тех пор человечество все время пытается поднять со дна утонувшие сокровища. В моем сердце пошло ко дну так много таких флотилий, и всю жизнь я буду стараться поднять на поверхность лежащие там драгоценности. У меня нет пока что для этого подходящего приспособления. Его нужно создать из ничего.

Я семенила подле Рю, и после одного очень долгого разговора, во время которого мы снова обсуждали все «основные вопросы», я вдруг остановилась рядом с ним посреди узкой, невзрачной улицы Говерта Флинка и сказала: «Знаешь, Рю, у меня есть такое детское качество, благодаря которому я всегда нахожу жизнь прекрасной и которое, наверное, помогает мне легче все переносить». Рю выжидательно глянул на меня, и я сказала, словно это простейшая вещь в мире, что, собственно, так и есть: «Да видишь ли, я верю в Бога». Думаю, это привело его в некоторое замешательство, он посмотрел так, будто хотел прочесть на моем лице что-то скрытое, но потом согласился, что для меня это очень хорошо. Возможно, поэтому остаток дня я чувствовала себя такой просветленной и сильной? Потому что так непосредственно и просто посреди серого рабочего квартала из меня вырвалось: «Да видишь ли, я верю в Бога».

Хорошо, что я на пару недель осталась здесь. Восстановлю свое здоровье и вернусь окрепшей. И все-таки я была асоциальна, была слишком беспечна. Конечно, надо было навещать семью пожилых Боденхаймеров, а не отговариваться тем, что все равно ничего не могу для них сделать. Есть много вещей, которых я избегала, преследуя свои собственные интересы. Я так любила смотреть по вечерам на пустоши в одни глаза. Это было замечательно. Но все-таки со всех сторон у меня бывали осечки. И по отношению к девочкам в моем помещении тоже. Периодически бросая им кусочек себя, я потом снова убегала. Это было нехорошо. И тем не менее я благодарна, что это было так и что я смогу еще все исправить. Верю, что, вернувшись, буду серьезнее, собраннее, что буду меньше гнаться за своими удовольствиями. Если хочешь развивать нравственность в других, начни с себя. Я целый день верчусь вокруг Бога, словно больше ничего нет. Но тогда и жить нужно соответственно. О, я еще совсем не далеко ушла, нет, не далеко, но иногда веду себя так, будто это уже

произошло. Я еще резвлюсь, еще беспечна, и события переживаю чаще с позиции художника, чем с позиции серьезного человека. Во мне есть что-то странное, непостоянное, авантюрное. Но когда поздним вечером я сижу здесь, за моим письменным столом, то вновь чувствую в себе настойчивую, целенаправленную силу, большую, возрастающую серьезность, которая иногда беззвучно подсказывает мне, что я должна делать, и которая позволяет мне совершенно искренне написать: «Я везде допускаю промахи, моя фактическая работа еще только должна начаться. До сих пор, по сути, все было баловством».

26 сентября [1942], 9.30. Я благодарна тебе, Господи, за то, что так исчерпывающе, телом и душой, я смогла познать одно твое создание.

Я должна намного больше полагаться на тебя, Господи. И не ставить никаких условий: если только буду здорова, тогда… Продолжать жить и жить как можно лучше надо, даже когда нездорова. Я ничего не должна требовать и не буду этого делать. В моменты, когда я «отпускала ситуацию», моему животу сразу становилось существенно лучше.

Рано утром немного полистала свой дневник. Навстречу ринулись тысячи воспоминаний. Что за потрясающе богатый год. Какое изобилие приносил каждый день. И еще: спасибо, Господи, за то, что ты дал мне столько пространства для хранения этого богатства.

Я постоянно отмечаю, каким великим воспитателем стал для меня за последний год Рильке.

27 сентября [1942]. Откуда мог взяться такой искрящийся огонь! Все слова и выражения, как только я ими воспользуюсь, тотчас же кажутся мне сейчас серыми, бледными, бесцветными в сравнении с этой прорывающейся из меня интенсивной жизнерадостностью, любовью и силой.

Мой 21-летний братик, пианист, пишет мне из психбольницы, на котором? году войны:

«Я думаю, нет, я знаю, что после этой жизни наступит другая. Я даже думаю, что некоторые люди уже могут видеть и познавать ее одновременно с этой жизнью. Это мир, в котором вечное нашептывание музыки стало живой действительностью, где обычные, повседневные вещи и высказывания приобретают более высокое значение. Вполне возможно, что после войны люди будут

больше открыты этому, чем до сих пор, что они сообща проникнутся более высоким миропорядком».

И если я раздам все имение мое, …а любви не имею, нет мне в том никакой пользы[46].

Теперь тебе, изнеженному, больше не надо страдать, а я легко могу выдержать немного холода и колючую проволоку. То, что в тебе бессмертно, продолжает жить во мне.

Как все же человек привязывается к материальному: Тидэ дала мне его маленькую поломанную розовую расческу. Я вообще не хотела бы иметь его фотографию и, вероятно, никогда больше не произнесу его имя, но замусоленный маленький розовый гребешок — все полтора года я видела, как он причесывает им свои редкие волосы, — лежит теперь в моем бумажнике среди важнейших документов, и мне будет ужасно грустно, если когда-нибудь я его потеряю. Все-таки человек странное существо.

28 сентября [1942]. Audi et alteram partem[47].

Отравитель ядовитым газом под измененным именем, и ландыши, и совращенная медсестра.

Слова флиртующего терапевта с меланхоличными глазами произвели все же на меня некоторое впечатление: «Вы ведете слишком интенсивную духовную жизнь, это плохо сказывается на здоровье. Ваш организм не справляется с этим». Когда я поделилась с Йопи, он задумался и согласился: «Возможно, он прав». Я долго думала об этом и говорю с еще большей уверенностью: нет, он не прав. Да, это так, я живу интенсивно, мне самой эта интенсивность порой кажется чрезмерной, демонической, но я день ото дня восстанавливаю свои силы в первоисточнике, в самой жизни, и успокаиваюсь в молитве. Каждый, кто говорит мне, что я живу слишком интенсивно, не знает, что в молитве можно уединиться, как в монастырской келье, и потом идти дальше с новыми силами и вновь завоеванным покоем.

Это именно та человеческая боязнь израсходовать себя, которая и лишает нас лучших сил. Когда после долгого, утомительного, ежедневного процесса продвинешься к первоисточнику, который мне хочется назвать просто Богом, и когда следишь за тем, чтобы дорога к нему не была забаррикадирована, была свободна, а это происходит благодаря

«работе над собой», — тогда твои силы постоянно восстанавливаются и ты не боишься, что они иссякнут.

Я не верю в объективность утверждений. Множество комбинаций человеческих взаимодействий неисчислимо.

Говорят, ты слишком рано ушел из жизни. Ну что ж, тогда в мире одной книгой по психологии будет меньше, зато в нем прибавилось еще немного любви.

29 сентября [1942]. Ты часто говорил: *«Это грех против Духа, и расплата неминуема. Всякий грех по отношению к Духу наказуем»*. Я также думаю, что расплата ждет любой «грех» против человеколюбия. Как в самом человеке, так и во всем окружающем нас мире.

Хочу еще раз переписать для себя Евангелие от Матфея 6, 34: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы».

С ежедневным множеством мелких забот вокруг грядущего дня, подтачивающих лучшие человеческие силы, нужно бороться, как с блохами. Ты пытаешься мысленно подготовиться к следующему дню, а в результате все получается иначе, совсем иначе. «Довольно для каждого дня своей заботы». Надо просто делать то, что необходимо, не позволяя себе заразиться многочисленными маленькими страхами и тревогами, этими признаками недоверия к Богу. Все образуется. В данный момент бессмысленно ломать себе голову над видом на жительство и продовольственными карточками, лучше поработать над еще одной русской темой. По существу, наша единственная моральная задача состоит в возделывании в себе пространства для спокойствия, для все увеличивающегося спокойствия, так, чтобы оно распространялось и на других людей тоже. И чем больше в людях будет покоя, тем спокойнее станет в этом перевозбужденном мире.

Только что короткий телефонный разговор с Тос. Йопи написал, чтобы бандеролей больше не отправляли. Там все пришло в движение. В одном письме к жене Ханен писал: «Слишком мало, чтобы из этого что-либо понять, и слишком много, чтобы не беспокоиться». И т. п. И во мне сразу начинает что-то происходить, что-то не то. С этим нужно бороться. Нужно отойти от всей этой бесплодной, как зараза распространяющейся сумятицы. Тогда я приблизительно смогу прочувствовать, что творится в других людях. Жалкая, бедная жизнь. Да, и добьешься

того, что не раз слышала от многих: «Я больше не могу читать, не могу сосредоточиться». «Прежде мой дом всегда был полон цветов, а нынче нет, больше не хочется». Нищая, жалкая жизнь. Я знаю, какова должна быть моя позиция. Если бы только можно было научить людей «умению» завоевать свой внутренний покой и, отстранившись от всех страхов и слухов, продолжать продуктивную, полную веры внутреннюю жизнь. Заставить себя преклонить колени в самом отдаленном, самом тихом уголке своего нутра и оставаться там до тех пор, пока небо над тобой снова не станет ясным, чистым, и ничего, кроме этого неба, не будет. Вчера вечером я на собственной шкуре испытала, как нынче страдают люди. Хорошо, заново пережив такое, знать, как с этим бороться, а потом снова твердо идти дальше сквозь широкий, безграничный простор своего сердца. Но настолько далеко я пока не зашла. Сейчас только к зубному врачу, а к вечеру — на Кейзерсграхт.

30 сентября [1942]. Оставаться верным тому, что однажды внезапно, совсем внезапно началось. Быть верным каждому чувству, каждой пустившей ростки мысли.

Быть во всеобъемлющем смысле этого слова верным самому себе, Богу и лучшим мгновениям жизни.

И где бы ты ни находился, быть «стопроцентно». Мое «делать» должно заключаться в «быть»! А моя верность тому, в чем я больше всего отстаю, должна еще расти. Я говорю о моем таланте, каким бы незначительным он ни был. И, как обычно, многое хочет быть мною высказанным и описанным. Пора постепенно начинать. Пока что, уклоняясь от этого всеми возможными способами, я не оправдываю своих ожиданий. Но с другой стороны я знаю, что нужно набраться терпения, и всему, о чем я упомянула, дать возможность созреть. Ему нужно помогать, идти навстречу. Снова то же самое: тебе хочется сразу написать что-то особенное, гениальное, ты стесняешься собственной некомпетентности. Но если и есть у меня в этой жизни, в это время, на этой стадии моей жизни настоящий долг, так это — писать, замечать, фиксировать. Переработкой я занимаюсь лишь мимоходом. Я вычитываю жизнь из других и знаю, что умею это делать, и при этом с юношеской заносчивостью и беспечностью думаю, что каким-то образом сохраню прочитанное в памяти, а позже перескажу. Но небольшие опорные точки надо создавать уже. Познавая жизнь до самого ее донышка, я все сильнее чувствую, что несу ответственность относительно того, что хотела бы назвать своим талантом. Но с чего начать, Господи. Столько всего. И, перенося непосредственно на бумагу все столь

интенсивно пережитое, нельзя допустить ошибки. Поэтому-то и не получается. Как я это все когда-нибудь *преодолею*, пока не знаю, очень много всего. Знаю только, что делать это я буду абсолютно одна. И еще знаю, что у меня достаточно сил и терпения, чтобы самой справиться с этим. Нужно быть верной себе и не рассеяться, как песок на ветру. Я раздаю себя, трачу среди множества желаний, впечатлений, между людьми и побуждениями. Я должна сохранять всему этому верность, но во мне должна добавиться новая верность — верность моему таланту. Недостаточно только переживать, должно быть что-то еще.

Я все отчетливей вижу нечто подобное зияющей бездне, в которой исчезают творческие силы и жизнерадостность. Это — все поглощающие дыры, и эти дыры появляются в наших умах и душах. В каждом дне вдоволь своих терзаний. И еще: человек больше всего страдает от той беды, которой он боится. Материя, притягивающая к себе дух, вместо того, чтобы наоборот. Всегда все вокруг материи. «Ты ведешь слишком духовную жизнь». А почему нет? Потому что я тут же не бросилась в твои жадные руки? Человек — это что-то странное. Как много есть всего, что хочется описать. Где-то глубоко во мне — мастерская, в которой титаны заново перековывают этот мир. Однажды, отчаявшись, я написала: «Именно в моей маленькой головке, в моем черепе этот мир продуман до прозрачной ясности». И теперь я иногда думаю об этом чуть ли не с сатанинской заносчивостью. Свои духовные силы я воспринимаю все независимей от материальной нужды, от представлений о голоде, холоде и опасности. Речь идет всегда о наших представлениях, а не о реальности. Реальность это то, что надо взять на себя. Взять на себя все беды, все сопутствующие трудности, взять и нести. И покуда ты их несешь, растут твои силы. От представлений же о страданиях (ложных представлений, поскольку само по себе страдание плодотворно, оно может превратить жизнь во что-то драгоценное) надо отказаться. И оставив эти представления, в которых живешь, как за арестантской решеткой, дав волю настоящей жизни и собственным силам, ты сможешь выдержать свои подлинные страдания и страдания всего человечества.

Пятница [2 октября 1942], утро. В постели. Надо рискнуть признаться себе в том, что я сейчас не вполне честна с самой собой. Этот урок, Господи, я должна буду еще выучить, и он будет самым трудным: принять не те страдания, что я сама выбрала, а те, которые на меня возложил ты.

В последние дни мне требуется много слов, чтобы убедить себя и других в том, что мне надо уехать и что мой желудок не стоит разговоров о нем. Наверное, он действительно не стоит этого, но когда необходимо приводить столько веских доводов, — что-то не так. Что-то и правда не так. А теперь надо громко самой себе сказать: «Ну да, но ведь сейчас каждый какое-то время чувствует и головокружение, и слабость. А когда это проходит, то это проходит, и ты продолжаешь жить дальше, будто ничего и не было».

Мне кажется, протяни я лишь руку, и вся Европа вместе с Россией — в моей горсти. Все стало для меня таким маленьким, обозримым, знакомым, помещающимся в одной руке. Даже здесь, в постели, все кажется мне таким близким. Держи это крепко, хоть и лежишь и должна будешь смирно, неподвижно лежать всю неделю. По-прежнему трудно смириться с мыслью, что надо оставаться в постели.

Господи, обещаю тебе, я буду изо всех своих лучших сил жить на любом месте, где ты будешь меня удерживать, но я так хотела бы в среду отправиться туда, пусть только на две недели. Да, я знаю, это рискованно: в лагере все больше СС, и вокруг все больше колючей проволоки, положение обостряется; может, через две недели мы не сможем больше выйти наружу, такое возможно. Мог бы ты взять этот риск на себя?

Мой доктор ведь не сказал, что я должна стеречь постель. Он был удивлен, что я еще не вернулась в Вестерборк. Но какое мне дело до доктора? Если сотни врачей мира признают меня абсолютно здоровой, а внутренний голос скажет мне, что я не должна идти, вот тогда идти не надо. Я подожду, может, ты подашь мне какой-то знак, Господи. Я твердо решила идти. И готова к переговорам. Ты идешь мне навстречу? Могу я в следующую среду на две недели вернуться на пустошь, а если мне все еще будет плохо, остаться здесь и поправляться? Пойдешь ты на подобную сделку? Думаю, вряд ли. И тем не менее я хотела бы в среду уехать. Все мотивы, ради которых я хочу это сделать, в самом деле обоснованные. Но сейчас надо идти спать. Я давно уже с тобой не обсуждала все. Да, знаю, мое исконное терпение покинуло меня, но я так же знаю, что оно, как только понадобится, вернется на свое место. И моя искренность останется со мной, хотя сейчас это очень трудно.

Даю себе срок до воскресенья. Если окажется, что это не просто временное головокружение, я благоразумно останусь здесь. Даю себе три дня. Но тогда надо держаться спокойно. Дорогая моя, не делай глупости! Не проживай за несколько

недель целую жизнь. Ты обязательно доберешься до тех людей, до которых должна добраться. Это же не зависит от пары недель, не ставь на карту свою драгоценную жизнь. Ты не должна злонамеренно бросать вызов богам, они так великолепно все для тебя организовали, не порть их труды. Даю себе еще три дня.

Позже. Чувствую, что моя жизнь там еще не закончилась, что это еще не завершенное целое. Что ж это за книга, посредине которой я застряла! Я так хочу продолжить чтение. В иные моменты мне кажется, что несмотря на то, что я всегда жила уединенно, вся моя жизнь была лишь подготовкой к жизни в том сообществе.

Позже. Разве это не цель, цвести и приносить плоды на любом клочке земли, где будешь посажен? И разве не должны мы помогать в осуществлении этой цели?

Думаю, я научусь этому — откажусь от всех названий, значащих что-то только для специалистов. Пусть говорится: желудочное кровотечение, язва желудка или малокровие. Чтобы знать эти болезни, не обязательно знать, как они называются. Вероятно, придется какое-то время лежать, но у меня нет на это никакого желания. Я придумываю всевозможные отговорки, только бы убедить себя, что ничего ужасного нет и я непременно смогу в среду уехать. Так тому и быть: даю себе еще три дня, и если потом так же, как сейчас, буду чувствовать этот панцирь бессилия — временно сдамся. Это значит — откажусь от своей дерзкой программы. А если в понедельник я снова буду в форме? Тогда пойду к Нойбергу и в своей милой манере, улыбаясь (о, я прямо вижу себя стоящую там с новым, окаймленным золотом фарфоровым зубом), скажу: «Доктор, я пришла поговорить с вами, как с другом. Видите ли, дело в том, что я очень хотела бы уехать. Как вы полагаете, это благоразумно?» И я уже сейчас знаю, что он скажет «да», столь внушительно это будет мною преподнесено. Я заставлю его дать тот ответ, который очень хочу услышать. Вот так поступают люди. Они используют других, чтобы убедить самих себя в том, во что в глубине души не верят. Используют других как инструмент, чтобы заглушить собственный внутренний голос. Но если бы каждый, однажды дав зазвучать своему внутреннему голосу, прислушивался к нему, — было бы значительно меньше хаоса.

Что бы ни выпало на мою долю, думаю, что смогу взять это на себя, научусь этому.

Этим ранним утром, лежа больной в постели, я уже многому

научилась.

Всегда чувствую какое-то удовлетворение, когда на моих глазах изобретательно придуманный человеческий план неожиданно оказывается пустым. Мы бы поженились и вместе переживали бы все испытания этого времени. Теперь одно истощенное тело лежит под камнем (интересно, как выглядит этот камень) в отдаленном уголке большого, изобилующего цветами кладбища Зоргфлид, а я, скованная бессилием, лежу в этой комнатке, которая уже почти шесть лет мое жилище. Суета сует. Однако то открытие, что я в состоянии перед кем-то полностью раскрыться, связать с ним свою жизнь и делить невзгоды, — суетой не было. И разве не проложил он мне прямую дорогу к Богу, сперва расчистив ее своими несовершенными человеческими руками?

Нет, милая моя, мне не нравится твое состояние там, под одеялом.

Очень тяжело быть неподвижной. А какой я была, Господи, какой живой я была. Сама изумлялась и радовалась тому, как ловко шла я по твоим неизведанным дорогам с рюкзаком за моей непривыкшей к нему спиной. Это было огромным чудом. Вдруг передо мною открылись ворота в мир, в который, как я думала, у меня нет доступа. А теперь он передо мной. Но сейчас, честно, я действительно больна. Даю тебе еще 2,5 дня.

Позже я отыщу всех, одного за другим, я зайду ко всем, к тысячам тех, кто прошел там, на пустоши, через мои руки. А если не найду, тогда буду искать их могилы. Больше не смогу спокойно сидеть здесь, за этим письменным столом.

Хочу, пройдя по всему свету, своими глазами увидеть, своими ушами услышать, как погибли те, кому мы дали уехать.

Вечер. Немного прошлась по дому. Кто знает, может, все не так плохо, может, это обыкновенное малокровие, которое пройдет там с помощью какой-нибудь микстуры. Впрочем, человек не должен близоруко намечать себе слишком сжатые сроки.

Теперь, очевидно, я стану *«заблокированной»*. Спросила у хромого нотариуса, не прыгать ли мне от радости. Я ведь вообще не хочу всех этих бумажек, за которые евреи насмерть сражаются друг с другом. Почему же они мне достались? Я хотела бы побывать во всех лагерях Европы, на всех фронтах, я вовсе не хочу находиться в пресловутой безопасности. Хочу, очень хочу быть там, где смогу повлиять, помочь сближению так называемых

врагов, хочу понять, что происходит, чтобы, дотянувшись до людей, до кого только смогу (а я знаю, что смогу дотянуться до многих, дай мне лишь здоровье, Господи), объяснить им все, что происходит в мире.

Суббота [3 октября 1942], 6.30 утра, в ванной комнате. Начались муки бессонницей, это плохо. Я встала чуть свет и опустилась перед окном на колени. Там в мертвой тишине неподвижного серого рассвета стояли деревья. Я молилась: Господи, пошли мне такой же большой, глубокий внутренний покой, какой присущ твоей природе. Если ты хочешь, чтобы я страдала, то пусть это будут большие, всеобъемлющие страдания, но только избавь меня от тысячи маленьких, изнуряющих, ничего не оставляющих от человека забот. Дай мне покой и веру. Пусть каждый мой день будет состоять из большего, чем просто множество связанных с ежедневным существованием тревог. Разве все волнения о нашем пропитании, одежде, холоде, здоровье это не множество знаков недоверия тебе, Господи, и за них ты нас сразу же караешь бессонницей и жизнью, которая, собственно говоря, уже и не жизнь? Хочу еще пару дней спокойно полежать, но при этом единственное, чего по-настоящему хочу, — быть лишь большой молитвой, одним огромным покоем. Я должна снова нести его в себе. «Пациентке следует вести спокойный образ жизни». Господи, где бы я ни находилась, позаботься о моем спокойствии. Может, я потому перестала чувствовать покой, что неверно веду себя. Может быть, я этого не знаю. Я никогда не знала, насколько сильно принадлежу человеческому обществу. Мне хочется быть среди людей и их страхов, хочется самой все увидеть, понять и позже пересказать.

Но я так хотела бы быть здоровой. Слишком много сейчас думаю об этом, что, конечно, тоже плохо. Пусть во мне будет такая же великая неподвижность, какая была сегодня в твоем сером рассвете. Пусть в моем дне будет больше, чем одни заботы о больном теле. Встать с постели и в тихом углу комнаты опуститься на колени — это всегда мое лучшее лекарство. Я не хочу принуждать тебя, Господи, но сделай меня через два дня здоровой. Знаю, что все должно созревать медленно, что это длительный процесс. Сейчас около семи. Я обдам себя с головы до ног холодной водой, а потом опять лягу в постель и буду лежать тихо-тихо, мертвецки тихо. Больше не буду писать в эту тетрадь, попытаюсь только тихо лежать и быть молитвой. Так уже часто бывало, несколько дней я настолько ужасно себя чувствовала, что думала, мне и недели не помогут, а потом через пару дней все проходило. Но сейчас я веду себя неправильно,

хочу чего-то добиться силой. Если это хоть сколько-нибудь возможно, я бы очень хотела уехать в среду. Хорошо знаю, от такой, какая я сейчас, людям будет мало толку, хотелось бы стать здоровее. Я не должна ничего хотеть, все должно происходить само, а я сейчас на это не способна. Пусть не моя воля, но твоя воля будет.

Немного позже. Конечно, это полное уничтожение! Но дай нам вынести его с достоинством.

Во мне живет не поэт, а лишь частичка Бога, которая могла бы вырасти в поэта.

В таком лагере должен быть поэт, который, испытав тамошнюю жизнь, поведает о ней как поэт.

Когда ночью я лежала там на своих нарах посреди слегка похрапывающих, говорящих во сне, тихо плачущих, ворочающихся женщин и девушек, так часто за день говоривших, что не хотят ни думать, ни чувствовать, а то могут сойти с ума, — я была бесконечно взволнована. Лежала без сна, в уме проносились события, сильнейшие впечатления от слишком долгого дня, и мысли: «Дай мне быть думающим сердцем этих бараков». Я снова хочу им быть. Я хотела бы стать думающим сердцем всего концентрационного лагеря. Сейчас я терпеливо лежу здесь, я спокойна и чувствую себя лучше, не потому, что хочу этого, а действительно лучше. Я читаю письма Рильке *«О Боге»,* каждое слово для меня наполнено смыслом, мне хотелось бы написать их самой. Это значит, что если бы их написала я, то написала бы именно так, не иначе. У меня сейчас опять есть силы, чтобы идти. Я не думаю больше о планах и рисках. Будь что будет. Как бы ни было, будет хорошо.

Суббота, 4 часа дня. Не буду больше сопротивляться. Я уже вижу себя идущей туда в среду на шатающихся ногах. Очень досадно. Но я благодарна, что, болея, могу в покое лежать здесь, что за мной хотят ухаживать. Сперва надо полностью выздороветь, а иначе свалюсь грузом на людей. А пока я все же немного больна, больна с головы до ног, втиснута в латы бессилия и головокружения.

Но я не смею быть по-детски капризной и нетерпеливой. Зачем так торопиться за колючую проволоку, чтобы разделить с другими все несчастья? И что уже значат для целой жизни эти шесть недель? Мою голову стягивает железный обод, на нее давит тяжесть всех развалин города. Очень бы не хотелось больным, усохшим листом отпасть от общего ствола.

3 октября, суббота, 9 часов вечера. Если ты действительно хочешь стать здоровой, надо жить не так. Тебе не следует весь день напролет разговаривать, а надо закрыться в своей комнате и никого туда не впускать, это единственный верный способ. Ты сейчас все делаешь плохо. Может быть, ты еще поумнеешь.

Надо день и ночь молиться, за всех, за тысячи. Ни на минуту нельзя оставаться без молитвы.

Я знаю: когда-нибудь ко мне придет дар красноречия.

4 октября [1942], воскресенье, вечер. Утром — Тидэ, днем — профессор Беккер, позже — Йопи Смелик[48]. Обедала с Ханом. Головокружение и слабость. Господи, ты дал мне на сбережение столько ценностей, позволь же хорошо присматривать за ними и хорошо ими управлять. От многочисленных разговоров с друзьями мне моментально становится плохо. Я полностью расходую себя. Пока что у меня недостаточно сил, чтобы вернуться назад. Главная моя цель — найти когда-нибудь истинное равновесие между моими интра- и экстравертными сторонами. Они обе в равной мере развиты во мне. Я охотно вхожу в контакт с людьми. Мне кажется, своим интенсивным вниманием я выуживаю из них все лучшее и глубокое, что в них есть, они открываются мне. Для меня каждый человек — это рассказанная жизнью история. Моим воспаленным глазам нужно только читать. Жизнь открывает мне так много историй, я же должна сделать их понятными для каждого человека, для тех, кто не в состоянии непосредственно из жизни самостоятельно их вычитывать. Господи, ты наградил меня даром чтения, дашь ли ты мне и талант писателя?

Внезапно посреди ночи. Бог и я, теперь мы остались одни. Больше нет никого, кто может мне помочь. На мне ответственность, которую я еще не водрузила на свои плечи. Я пока слишком много играю и недисциплинированная. Ни в коей мере не чувствую себя из-за этого обедневшей. Нет, скорее обогащенной и спокойной. Мы остались совсем одни, Бог и я.

8 октября [1942], четверг, вторая половина дня. Ничего не поделать, я больна. Позже соберу все свои слезы и ужасы. Собственно, я уже это делаю здесь, в постели. Поэтому, наверное, меня так лихорадит и кружится голова? Не хочу быть летописцем зверств. И сенсационных тоже. Сегодня утром я сказала Йопи: «И все же каждый раз я прихожу к одному и тому же выводу, что

жизнь прекрасна. Я верю в Бога и хочу, находясь в самом центре того, что люди называют „зверствами“, потом вновь сказать, что жизнь прекрасна». А сейчас, забившись в угол, лежу с головокружением, с температурой и ничего не могу делать. Только что проснулась, почувствовала себя полностью обезвоженной, схватила стакан воды и испытала такую благодарность за этот глоток, что подумала — если бы я только могла быть там, чтобы некоторым из тысячи людей дать глоток воды. Меня постоянно охватывает одно и то же чувство: ах, все ведь не так страшно, просто утихни, успокойся, все не так страшно. Когда за стол в нашей регистратуре снова садилась плачущая женщина или голодный ребенок, я подходила и, скрестив на груди руки, слегка улыбаясь, становилась сзади и тихо обращалась к сгорбившемуся, павшему духом существу: «Все ведь не так страшно, на самом деле не так страшно». И я оставалась так стоять, просто была там, поскольку сделать-то ничего нельзя. Иногда, подсев к кому-нибудь, я опускала ему на плечо руку, почти не говорила, а только смотрела в лицо. Никогда мне не было что-либо чуждым, любое выражение человеческого горя было мне близко. Все казалось знакомым, словно я все это уже однажды пережила. Некоторые мне говорили: «Чтобы все это выдерживать, у тебя должны быть железные нервы». Не думаю, что они у меня железные, скорее, очень чувствительные, но тем не менее я могу это выдержать. Я осмеливаюсь смотреть прямо в глаза любому страданию и не боюсь этого. И всегда в конце дня — чувство: как же сильно я люблю людей. Никогда не испытывала горечи от того, что им в жизни досталось, а просто любила их, любила за то, как они все-таки умели переносить горе. Умели, хотя внутренне почти не были готовы к тому, чтобы вообще что-либо выдержать. Белокурый Макс с кроткими, голубыми мечтательными глазами и наголо остриженной головой, на которой уже снова появился легкий пушок. Он в Амерсфорте прошел через такие истязания, что оказался «нетранспортабельным» и его оставили в санчасти. Однажды вечером он подробно рассказал об этом. Позже люди должны бы завести книгу этих подробностей, это необходимо, чтобы передать потомкам полную картину этого времени. Но у меня нет потребности знать множество деталей.

На следующий день [9 октября 1942] .Неожиданно приехал папа, все было очень нервозно. «Тоже мне сестра милосердия», и «донкихотство», и «Господи, избавь меня от желания быть понятой, а сделай так, чтобы понимала я».

Сейчас 11 часов утра. Пожалуй, Йопи должен был уже

добраться до Вестерборка, и мне кажется, будто теперь там есть частица меня. Утром опять боролась со своим нетерпением и унынием из-за болей в спине и тяжелого ощущения в ногах, которые с радостью пошли бы по всему миру, но пока не могут. Это еще будет. Нельзя быть таким материалистом. Разве, лежа здесь, я не прохожу через весь белый свет?

Через меня протекают полноводные реки, во мне поднимаются высокие горы, а позади зарослей моего беспокойства и растерянности простираются широкие равнины покоя и смирения. Во мне есть все ландшафты, и для всего есть место. И земля во мне, и небо. И то, что люди смогли придумать что-то вроде ада, мне тоже абсолютно понятно. Во мне же его никогда больше не будет, он был пережит в прошлом, заранее, на всю оставшуюся жизнь, но ад других людей я вместе с ними переживаю очень сильно. Так и должно быть, а то, чего доброго, станешь самодовольной.

Возможно, это прозвучит парадоксально, но когда ты чересчур настойчива в своем стремлении физически быть вместе с любимым человеком, когда на это уходят все твои силы, — тогда в общем-то ты обкрадываешь этого человека, поскольку едва остаются силы на то, чтобы в действительности быть с ним.

Снова примусь за Августина. Он в своих письмах к Богу такой суровый, пламенный, страстный, полный самоотдачи. Собственно говоря, письма к Богу — это единственные любовные письма, которые надо писать. Наверное, было бы весьма высокомерно с моей стороны утверждать, что во мне слишком много любви, чтобы отдать ее одному-единственному человеку? Довольно детскими мне кажутся мысли о том, что всю жизнь надо любить только одного человека и никого больше. В этом есть что-то скудное, убогое. Не выучить ли навсегда, что любовь к людям намного плодотворней, что она приносит больше счастья, чем любовь к противоположному полу в ущерб всему обществу?

Я сложила руки в ставшем мне милым жесте и, говоря в темноте глупые и серьезные вещи, вымаливаю благословение твоей полной добра и искренности голове. Все вместе можно было бы назвать одним словом «моление». Спокойной ночи!

Суббота [10 октября 1942], вечер. Верю в то, что могу в этой жизни, в этом времени все вынести и осмыслить.

И если моя страстность слишком велика и я не найду никакого выхода, тогда для меня всегда останутся сложенные руки и преклоненные колени. Этот жест у нас, евреев, не

передается от поколения к поколению. Я научилась ему с большим трудом. Это драгоценнейшая доля наследства, доставшаяся мне от того человека, чье имя я почти уже забыла, но эта лучшая его часть продолжает во мне жить.

Что же это была за особенная, выдуманная мною история о девочке, которая не могла стать на колени. Или, как вариант, о девочке, которая училась молиться. Это мой интимнейший жест, интимнее, чем любой жест в отношениях с мужчиной. Разве можно всю свою любовь излить на одного-единственного человека?

Воскресенье [11 октября 1942], в перерыве дневного сна. Все сильнее сознаю, что во мне есть некое вещество, или как это назвать, которое ведет свою собственную жизнь и с помощью которого я изображаю окружающие меня вещи, события. Из этого вещества, которым еще недостаточно хорошо владею, которым сама себя снабжаю, я творю множество жизней. Может, во мне пока слишком мало веры в его собственную жизнь. Сама я ничего, кроме пространства, где эта жизнь может развиваться, предложить не могу. И одолжить тоже ничего не могу. Разве что мою ведущую перо руку, чтобы описать эту жизнь с ее собственными представлениями и опытом.

12. 10. 42. Множество впечатлений, как сверкающие звезды, лежат на темном бархате моих воспоминаний.

Возраст души — это что-то другое, нежели официально зарегистрированный возраст человека. Думаю, что душа уже при рождении имеет определенный, не меняющийся больше возраст. Можно родиться с двенадцатилетней душой, можно с тысячелетней, а бывают некоторые двенадцатилетние дети, по которым видно, что их душе уже 1000 лет. Я считаю самой неизведанной частью человека, и прежде всего у западных европейцев, — душу. Думаю, восточные люди живут в более крепком контакте со своей душой. Западный же человек не знает, что с ней делать, и стыдится ее, словно это что-то безнравственное. Душа — это не нрав, это нечто иное. Встречаются люди, у которых и правда много норова, но мало души.

Вчера я о ком-то поинтересовалась у Марии: «Она умна?»
— Да, — ответила Мария, — но только головой.
S. всегда говорил, у Тидэ *духовный ум.*

Когда между мною и S. иногда заходил разговор о нашей большой возрастной разнице, он всегда парировал: *«Кто мне скажет, что ваша душа не старше моей?»*

Из меня временами неожиданно вырывается пламенная благодарность, когда, как сейчас, передо мной в ошеломляюще полный рост встают люди и дружбы прошедшего года. Теперь я, что называется, лежачая больная, у меня малокровие, а все равно каждая моя минута наполнена и плодородна. Как же все будет, когда я снова стану здоровой? Я должна всегда с новой силой приветствовать тебя, Господи. Я так благодарна за такую дарованную мне тобой жизнь.

Душа — это нечто, сделанное из огня и горных кристаллов. Она — суровая, ветхозаветная твердь, но и нежная, как жест, которым его кончики пальцев иногда осторожно гладили мои ресницы.

Вечером. И снова мгновения, когда жизнь так обескураживающе тяжела. Тогда во мне одновременно и возбуждение, и беспокойство, и усталость. Днем были моменты очень сильных творческих переживаний. А теперь, как после семяизвержения, состояние опустошенности.

Ничего другого я не должна делать, лишь неподвижно лежать под одеялом и терпеть, пока подавленность и обморочное состояние не оставят меня. Прежде в подобном состоянии я творила сумасшедшие вещи: пила с друзьями или думала о самоубийстве, или ночь напролет рылась в сотне разных книг.

Нужно смириться и с тем, что бывают собственные *бесплодные* моменты; чем честнее признаешься себе в этом, тем быстрее такой момент пройдет. Надо иметь мужество и для пауз, позволить себе побыть пустым и подавленным. Спокойной ночи, милая облепиха.

Следующим ранним утром [13 октября 1942]. Буйно, как косой, размахиваю вокруг себя маленьким карандашиком, но срубить многочисленные ростки, взошедшие в моей душе, пока никак не удается.

«Иных людей я несу в себе, как бутоны, которым даю распуститься внутри себя. Других несу как нарыв, несу до тех пор, пока он не прорвется и не вытечет гной» (Франс Биренхак).

Предварять. Не нахожу для этого подходящего голландского слова. Вот так со вчерашнего вечера я лежу здесь и, заранее неся под крышу часть страданий надвигающейся зимы, все время

понемногу вбираю в себя невзгоды всего мира. Но сразу это не выходит. Сегодня день будет очень трудным. Я останусь тихо лежать, *предваряя* что-то перед тяжестью всех грядущих дней.

Когда я страдаю за них, беззащитных, не страдаю ли я от своей собственной беззащитности?

Я, как хлеб, разломала свое тело и разделила его между людьми. Почему нет, они ведь были такими голодными, так долго бедствовали.

Постоянно возвращаюсь к Рильке. Удивительно, он был чувствительным человеком и многие свои произведения писал, находясь в стенах гостеприимного замка, и, возможно, живи он в тех обстоятельствах, в которых сегодня живем мы, — он бы погиб. Но не свидетельствует ли о хорошо продуманном расчете то, что утонченный художник в мирные времена, среди благоприятных обстоятельств может безмятежно искать подходящую, красивую форму для выражения глубочайших истин, к которым потянутся люди, живущие в бурные, изнурительные времена, и в которых они найдут готовую оболочку для своих запутанных, не имеющих собственной формы и решения вопросов? Не имеющих потому, что ежедневная энергия этих людей расходуется ими на ежедневные беды. В тяжелые времена они обычно с презрительным жестом выбрасывают за борт духовные достижения искусства из так называемых легких времен (но разве само по себе быть художником не тяжело?) со словами: «К чему это нам сейчас?»

Наверное, это понятно, но так близоруко. И бесконечно обедняет.

Хочется быть пластырем на стольких ранах.

Письма из Вестерборка

3 июля 1943, Вестерборк.

Йопи, Клаас, дорогие друзья, я забралась на мою третью, верхнюю койку, и в вакханалии письма спешу еще раз дать волю своим чувствам. Через несколько дней шлагбаум нашей нелимитированной переписки закроется, я стану «жителем лагеря» и смогу писать лишь одно письмо в 14 дней, которое должна буду отправлять незапечатанным. А мне хотелось бы поговорить с вами еще о некоторых мелочах. Неужели я действительно написала такое письмо, из которого видно, что мужество покинуло меня? Не могу себе этого представить. Бывают, правда, моменты, когда думаешь, что больше не выдержишь. Но, как мы знаем, все постепенно движется дальше, хотя то, что всегда окружало тебя, вдруг преображается и низко нависающее над тобой небо становится черным, сильно меняются жизненные ощущения, и сердце мрачнеет, словно ему уже тысяча лет. Но, поверьте, так не всегда. Человек — странное существо. Нищета, господствующая здесь, поистине неописуема. Мы ютимся в больших бараках, как крысы в сточной канаве. Вокруг много медленно умирающих детей. Но есть и здоровые дети. На прошлой неделе, ночью, здесь прошел эшелон с заключенными. Восковые, прозрачные лица. Я никогда еще не видела на человеческих лицах столько усталости и истощения, как той ночью. Они проходили здесь «фильтрацию»: регистрация, еще регистрация, обыск, проводимый парнями из НСД[49], карантин — само по себе часами длящееся испытание. На рассвете этих людей затолкали в пустые товарные вагоны. Этот эшелон был обстрелян еще в Голландии, поэтому и получилась такая стоянка. А потом еще три дня пути дальше, на Восток. Для больных — на полу бумажные матрацы. А так — голые, закрытые вагоны с бочкой посредине, и в каждом примерно 70 человек. С собой разрешено взять только пакет с хлебом. Я спрашиваю себя, сколько же доедет живых. Мои родители тоже готовятся к такой поездке, если только вопреки всем ожиданиям не решится что-то в Барневельде[50]. Недавно мы с папой немного прошлись по пыльной песчаной пустыне. Он был таким милым, спокойным. Очень дружелюбно, тихо, как бы между прочим сказал: «Вообще-то я бы хотел лучше побыстрее отправиться в Польшу, тогда бы все произошло быстрее, через три дня я был бы мертвым. Нет ведь больше никакого смысла продолжать такое недостойное человека существование. И почему со мной не должно произойти то, что произошло с тысячами других?» Позже мы оба смеялись

из-за соответствующего пейзажа, который вопреки лиловым люпинам, полевой гвоздике и грациозным птицам, похожим на чаек, иногда напоминал пустыню. «Евреи в пустыне, нам этот пейзаж знаком с давних времен». Понимаете, это тяжело, когда твой такой дружелюбный маленький папа время от времени впадает в отчаяние. Но это только наши настроения. Бывает и по-другому, и тогда мы оба смеемся и многому удивляемся. Встречаем здесь некоторых своих знакомых, с которыми не виделись в течение долгих лет; юристы, библиотекари и т. п. с наполненными песком тачками, в грязной, грубой спецодежде. Мы мельком смотрим друг на друга и почти не разговариваем. Как-то раз в одну из таких отправочных ночей один молодой печальный на вид полицейский сказал мне: «За такую ночь я худею на пять фунтов, но должен только смотреть, слушать и молчать». И поэтому я тоже не буду слишком много писать. Однако я отклонилась от темы. Хотела лишь сказать, что горе действительно большое, и все-таки поздним вечером, когда день близится к закату, я пружинящими шагами часто бегу вдоль колючей проволоки, и из моего сердца всегда рвется наружу (ничего с этим не могу поделать, это так — и все, это происходит стихийно), что жизнь — это что-то замечательное и великое, что позже мы должны будем построить совершенно новую жизнь, и каждому следующему преступлению, каждой жестокости мы должны противопоставить немного любви и добра, которые сначала надо еще в себе отвоевать. Да, мы страдаем, но от этого мы не должны сломиться. И если мы уцелеем, уцелеем физически и прежде всего духовно, если внутри нас не будет ни ожесточения, ни ненависти, тогда у нас тоже будет право на то, чтобы после войны сказать свое слово. Может, я честолюбива, но мне бы тоже хотелось высказать всем свое очень маленькое словечко.

Ты говоришь о самоубийстве, о матерях и детях. Да, конечно, я все это могу представить, но считаю, что это бесплодная тема. Все страдания имеют свои границы, и, должно быть, человек не может выдержать больше того, что в его силах, и, достигнув своего предела, он сам по себе умирает. Периодически здесь умирают люди, молодые люди, они умирают, потому что сломлен их дух и они больше не видят в жизни никакого смысла. У пожилых людей корни крепче, и они с достоинством и смирением принимают свой жребий. Ах, здесь можно увидеть столько разных людей, и судить о них можно по их отношению к самым сложным и важным вопросам…

Я пытаюсь описать вам свое состояние, но не знаю, насколько точна эта картина. Когда паук плетет паутину, он сначала

выбрасывает основные нити, и только потом карабкается по ним. Разве не так? Главный путь моей жизни простирается так далеко, что он уже достигает другого мира. Словно за все, что здесь происходит и еще произойдет, где-то уже с меня было взыскано, я уже это отработала и прожила, и теперь вместе с другими строю общество, которое будет жить после нынешнего. Жизнь здесь не отбирает у меня много сил. Физически, правда, немного слабеешь, и часто бывает безмерно грустно, но по своей сути становишься все сильнее. Желала бы, чтобы с вами и всеми моими друзьями было именно так, это необходимо, нам предстоит еще вместе много пережить и много сделать. И поэтому я призываю вас в мрачные минуты жизни внутренне оставаться верными себе, и, пожалуйста, никогда не отчаивайтесь и не грустите из-за меня, для этого нет причин. Леви тяжело, но они принадлежат к тому сорту людей, которые знают, что делать, у них, вопреки слабому здоровью, есть много внутренних резервов. Иногда можно увидеть ужасно грязных детей, гигиена здесь — это огромная проблема. Я напишу как-нибудь об этом в другом письме. Прилагаю записку, которую писала для папы и мамы, но в ней уже нет необходимости. Может быть, вы там найдете что-нибудь для себя.

У меня еще есть одна просьба, если вы только не сочтете ее нескромной: подушка. Например, старая диванная подушка, солома все-таки немного жесткая. Но из провинции разрешено посылать только небольшую бандероль весом до 2 кг, а такая подушка, наверное, тяжелее? Но, если случайно ты будешь в Амстердаме у папы Хана (оставайся, пожалуйста, преданной ему и дай ему также это письмо), тогда, возможно, там ты смогла бы отправить ее из какого-нибудь почтового отделения? Кроме этого, мое единственное желание, чтобы вы были живы и здоровы и время от времени писали мне невинные записки.

С большой любовью, Этти

10 июля 1943 г.

Добрый день, Мария.

Отсюда ушли уже десятки тысяч. Ушли одетые и раздетые, старые и молодые, больные и здоровые, а я в состоянии жить дальше, работать и быть жизнерадостной. Теперь настал черед и для моих родителей, и если это чудом не произойдет на этой неделе, то тогда непременно на одной из следующих. И я должна буду это принять. Миша хочет идти с ними, и мне кажется, что это правильно, так как если он увидит уход родителей, то придет в смятение. Я с ними не пойду, не могу. Легче молиться за кого-нибудь на расстоянии, чем рядом с собой видеть его мучения. Я

не иду вместе с родителями не из-за страха перед Польшей, а только из страха перед их страданиями. Стало быть, все-таки снова малодушие.

Люди не хотят понять, что в данный момент ничего нельзя больше ***сделать***, кроме как только быть и смириться. И это смирение во мне началось уже очень давно, но оно возможно лишь для самого себя, не для других. Поэтому сейчас мое положение здесь отчаянно тяжелое. Мама и Миша постоянно хотят что-то делать, хотят весь мир поставить с ног на голову, и я против этого совершенно бессильна. Ничего, ничего не могу поделать. Все приняв, я могу только страдать. В этом моя сила, и это большая сила. Но лишь для меня, не для других.

Вчера мы узнали, что в Барневельде маме и папе отказано. И это говорит о том, что во вторник они должны быть готовы к депортации. Миша хочет пойти к коменданту и сказать, что тот убийца. В эти дни за ним надо следить. Папа внешне держится очень спокойно. Если бы мне не удалось поместить его в больничный корпус, то здесь, в большом бараке, он бы погиб через несколько дней. Но и там жизнь постепенно становится для него тоже невыносимой. Он совершенно беспомощен и не видит никакого выхода. С моими молитвами тоже что-то не так. Знаю, надо молиться за людей, чтобы они смогли найти в себе силы все это выдержать, но во мне постоянно восходит одна и та же молитва: «Господи, сделай это по возможности быстрее». И поэтому сейчас я парализована во всех своих действиях. Насколько будет в моих силах, я позабочусь об их багаже, но в то же время знаю, что у них все отнимут (это точно), так для чего тогда вся эта возня.

У меня здесь есть хороший друг[51]. В соответствии с планом его должны были этапировать на прошлой неделе. Когда я пришла, он стоял передо мной прямой, как свеча, и лицо его выражало спокойствие. Около кровати стоял сложенный рюкзак, об отъезде мы больше не говорили. Он почитал мне некоторые написанные им вещи, и мы еще немного пофилософствовали. Не отягощая друг другу жизнь предстоящим прощанием, мы смеялись и говорили, что увидимся снова. Каждый из нас может выдержать собственную участь. Отчаянье здесь так велико оттого, что большинство людей не в состоянии справиться со своим жребием и перекладывают этот груз на плечи других. И под этой тяжестью можно сломаться, но не под тяжестью собственной судьбы.

Чувствую, что я созрела, что готова принять свою долю, но не чувствую этого относительно родителей. Это последнее письмо, на которое пока что у меня есть право. Именно сегодня днем у

нас отберут паспорта и мы станем жителями лагеря. Стало быть, теперь, ожидая от меня вестей, наберитесь терпения.

Может, мне удастся одно письмо отправить тайком.

Два твоих письма я получила.

Всего тебе доброго, моя подружка.

Этти

11 августа 1943 г.

Позже, когда я больше не буду жить на железных нарах на обнесенной колючей проволокой земле, мне бы хотелось над постелью иметь лампочку, чтобы ночью, если я захочу, вокруг меня было светло. В моем полусне часто кружатся легкие, прозрачные как мыльные пузыри мысли и истории, которые мне хочется поймать белым листом бумаги.

Просыпаясь утром, я чувствую, как окутана этими видениями, и знаешь, это необыкновенное пробуждение. Но дальше уже начинается коротенькая история страданий. Осязаемые мысли и образы, двигаясь вокруг меня, хотят, чтобы их записали, но нигде нельзя спокойно посидеть, и случается, что я часами бегаю в поисках безопасного местечка. Как-то раз к нам посреди ночи забрела бродячая кошка. Мы поставили для нее в туалете шляпную коробку, и она там окотилась. Иногда я чувствую себя бродячей кошкой без шляпной коробки.

Сегодня ночью у Йопи родился сын. Его назвали Беньямином, и он спит в выдвижном ящике шкафа. Рядом с моим папой сейчас поселят одного помешанного.

Ах, знаешь, если здесь не обладать большой внутренней силой и все внешнее не рассматривать как что-то второстепенное, не имеющее никакого веса в сравнении с нашим внутренним величием (не подберу в данный момент другого слова), — тогда все становится вообще безнадежным. Какие жалкие, унылые все эти беспомощные люди, потерявшие свое последнее полотенце, с их коробочками, мисками, кружками, заплесневевшим хлебом, грязным бельем на, под и рядом с их нарами. Они несчастны, когда другие люди кричат или просто недружелюбны с ними, но не замечают, когда сами ведут себя так же по отношению к другим. Маленькие, брошенные дети, чьих родителей уже угнали, а матери других детей о них не заботятся. Они пекутся о собственном ребенке с дизентерией, со всякими недугами и болячками, в то время как раньше это дитя никогда ни на что не жаловалось. Нужно видеть этих обезумевших матерей, в беспомощном отчаянии сидящих около кроваток плачущих, не желающих расти детей.

Эту страничку я писала в десяти разных местах: за столиком для телеграмм, в нашем рабочем бараке, на тачке напротив прачечной, где работает Анна-Мари (она часами стоит в духоте среди беспощадно орущих детей, от которых ей сейчас нет спасу). Вчера я довольно долго успокаивала ее, только пусть это останется между нами (эти мои каракули предназначаются тебе и, конечно, Свипу). Минувшим вечером, каждый раз прибавляя по слову, я писала в доме для сирот во время лекции одного многословного профессора социологии, а сегодня утром — под открытым небом на обдуваемых ветром «дюнах». Сейчас сижу в больничной столовой с картонными стенами — пристанище, которое я только что для себя открыла и где, возможно, смогу изредка уединяться.

Завтра рано утром Йопи отправится в Амстердам, за несколько месяцев моего пребывания здесь я впервые ощутила легкий укол в самую середину моего дисциплинированного сердца — для меня шлагбаум все еще опущен. Однако для каждого — свое время. Большинство людей здесь значительно беднее, чем могли бы быть на самом деле, потому что тоску по друзьям и семье они относят к убыткам жизни, в то время как тот факт, что твое сердце вообще в состоянии еще чего-то желать и так сильно любить, надо причислять к настоящим ценностям. Боже мой, я думала найти спокойное местечко, как вдруг сюда набежали комбинезоны, гремя котлами с пюре, а персонал больницы рассаживается за деревянными столами, чтобы поесть. Сейчас только 12 часов, поищу другое место.

Попытка пофилософствовать поздним вечером, когда глаза уже закрываются.

Иной раз люди говорят, что мне везде и во всем удается видеть положительное. Я нахожу такой взгляд примитивным. Да, все везде хорошо и одновременно плохо. Обе эти стороны жизни всегда и везде уравновешивают друг друга. У меня никогда не было чувства, что я должна что-то улучшить. Все хорошо в том виде, в каком оно есть. В каждой ситуации, сколь бедственной бы она ни была, есть нечто абсолютное, в ней заключено и хорошее, и плохое. Этим я лишь хочу сказать, что фраза «во всем видеть положительное» мне так же претит, как и слова «уметь из всего извлекать пользу». Хотелось бы четче объяснить тебе почему, но если бы ты только знала, какая я сонная; могла бы проспать 14 дней подряд. Сейчас отнесу это Йопи, завтра утром провожу его до полицейского пункта, и он отправится в Амстердам, а я сквозь бараки пойду назад.

Ох, ребята, всего вам доброго!

Этти

Вестерборк, 18 августа [1943].

Тидэнька, сначала этот день, когда мне можно писать, из-за очень сильной усталости и оттого, что подумала, что на сей раз все равно ничего не напишу, я хотела оставить неиспользованным. Но, конечно, мне надо о многом сказать, так что лучше все же дать волю своим мыслям. Вы их уловите. Сегодня во второй половине дня, отдыхая на своих нарах, мне вдруг захотелось записать в дневник слова, которые посылаю сейчас тебе:

«Господи, ты сделал меня такой богатой, позволь же мне щедро делиться этим богатством с другими. Моя жизнь превратилась в один непрерывный диалог с тобой, Господи. Когда я в каком-нибудь уголке лагеря стою на твоей земле и смотрю в твое небо, по моему лицу иногда текут слезы, рожденные внутренним волнением и благодарностью. Они текут иногда и вечером, когда, лежа в постели, я покоюсь в тебе, Господи. Это и есть моя молитва.

Уже несколько дней я чувствую себя очень уставшей, но это пройдет. Все протекает в соответствии с собственным глубоким ритмом, и нужно бы научить людей прислушиваться к этому ритму, ведь это самое важное, чему человек в этой жизни должен научиться. Я не сражаюсь с тобой, Господи. Моя жизнь — это сплошной диалог с тобой. Возможно, я никогда не стану крупным художником, каким хочу быть, но я чувствую себя под твоей надежной защитой. Хоть мне временами и хочется облечь в слова маленькие премудрости и трепетные истории, но всегда возвращаюсь к одному и тому же всеобъемлющему слову „Бог“, и мне не нужно больше ничего говорить. Все мои творческие силы направляются на внутренний диалог с тобой, и здесь прибой моего сердца становится шире, взволнованнее и одновременно спокойнее, и так растет мое внутреннее богатство».

Каким-то необъяснимым образом последнее время здесь, над пустошью, витает Юл[52], он каждый день ведет меня дальше. Все-таки в человеческой жизни бывают чудеса, и моя жизнь — это цепочка внутренних чудес. Хорошо, если когда-нибудь кто-то снова сможет произнести эти слова. Твоя фотография лежит в «Часослове» Рильке рядом с фотографией Юла, и они вместе с маленькой Библией лежат у меня под подушкой. Твое письмо с цитатами тоже пришло, пиши все время, да.

Всего хорошего тебе, дорогая моя.

Этти

[Не датировано; написано после 18 августа 1943 г.].

Да, но просто так я не могу сказать это молодым матерям с младенцами, которые в пустом товарном вагоне, возможно, направляются прямо в ад. И снова мне бы ответили: «Тебе легко говорить, у тебя нет ребенка». Но, безусловно, это здесь ни при чем. Я всегда черпаю новые силы из Писания. Там ведь примерно сказано так: «Если ты любишь Меня, ты должен оставить твоих родителей». Вчера вечером, ослабев от мучительной борьбы с состраданием к моим родителям, которое, поддайся я ему, совершенно бы меня парализовало, я нашла поддержку в словах, говорящих о том, что не надо так сильно отдаваться горю и заботам о своей семье, дабы больше участия и любви сохранить для ближних. Во мне все больше растет осознание того, что любовь к каждому случайно встреченному человеку, к каждому божьему подобию должна быть сильнее, чем любовь к кровным родственникам. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Можно ведь сказать, что это противоестественно. Вижу, мне еще слишком трудно об этом писать, в то время как проживать все уже не так сложно.

Сегодня вечером я с Механикусом навещу Анну-Мари и управляющего бараками — хозяина комнаты, в которой она постоянно проживает. Мы будем сидеть, по вестерборковским понятиям, в просторном помещении с большим высоким окном, открытым на широкий и колышущийся как море луг. В прошлом году я всегда на этом месте писала вам письма. Анна-Мари обязательно заварит кофе, хозяин будет рассказывать о прошлой лагерной жизни (он здесь уже пять лет), а Филип позже напишет об этом рассказы. Посмотрю, можно ли в моей жестяной коробочке найти что-нибудь съедобное к кофе, и кто знает, может, Анна-Мари сделала пудинг. Как в последний раз, — тогда это был твой, Етье, незабываемый миндальный пудинг. Сегодня тепло, и нас ждет прекрасный летний вечер перед открытым окном и вересковым лугом. Позже мы с Филипом разыщем Йопи и наше мирное трио прогуляется вокруг большого серого бедуинского шатра, возвышающегося над широкой песчаной равниной. Прежде в него помещали завшивленных людей, теперь там находится награбленная у евреев домашняя утварь, которая в качестве подарка будет отправлена в Германию или украсит дом коменданта. Солнце позади шатра каждый вечер заходит по-разному. Эта пустошь в Дренте, на которой расположен лагерь, вмещает в себе множество пейзажей. Мне думается, что мир прекрасен повсюду, в том числе в тех местах, о которых в учебниках географии сказано, что они убоги, бесплодны и лишены фантазии. Собственно говоря, большинство этих учебников уже непригодны, их надо будет переписать.

Дозволенное мне раз в четырнадцать дней только на одной стороне листа письмо я написала Тидэ. Ребята, каким же образом вы получили нечто такое по-барски щедрое, как полфунта масла, я была этим жутко напугана, это грандиозно. Простите мне такое материалистическое окончание письма. Сейчас 6.30, я как раз должна принести для семьи немного еды. Сердечно, сердечно кланяюсь вам всем.

Этти

Воскресенье, утро, 21. 08. 1943.

Здесь, в родильном отделении, лежит девятимесячный заласканный ребенок, девочка. Совершенно очаровательное, милое голубоглазое дитя. Несколько месяцев назад ее как «штрафной случай» обнаружила полиция в одной больнице и доставила сюда. Никто не знает, кто ее родители и где они находятся. Пока что крошка остается в родильном отделении, медсестры привязались к ней, как к живой игрушке. Но вот что я хотела рассказать: с самого начала жизни здесь этот младенец не имеет права бывать на улице. Другие детки стоят в своих колясках на свежем воздухе, но эта девочка должна оставаться в помещении, она же «штрафной случай»! Я справлялась у трех разных сестер и каждый раз сталкивалась с вещами, кажущимися мне невероятными, однако всякий раз они подтверждались.

В моем больничном бараке я встретила хилую, дистрофичную 12-летнюю девочку. Так же непосредственно и простодушно, как другие дети рассказывают о своих школьных делах, она сообщила мне: «Да, я пришла сюда из штрафного барака, я — штрафной случай».

Один 3,5-летний малыш разбил палкой оконное стекло и после того, как его страшно отругал отец, громко расплакавшись, сказал: «О-о-ой, теперь я попаду в 51-й (= тюрьма), а оттуда на штрафной этап».

Разговоры детей между собой ужасают. Я слышала, как один маленький мальчик говорил другому: «Нет, пацан, штамп „сто двадцать тысяч“ — это ничего хорошего[53]. Гораздо лучше быть наполовину арийцем, наполовину португальцем»[54]. Анна-Мари слышала, как одна мать говорила своему ребенку: «Если ты сейчас же не съешь свой пудинг, тебя этапируют без мамы».

Сегодня утром мамина «соседка сверху» уронила бутылку с водой, и много воды вылилось на постель мамы. Здесь это приравнивается к стихийному бедствию. Вряд ли вы можете себе такое представить. Во внешнем мире это можно сравнить с домом, затопленным наводнением.

Я задержалась сейчас в больничной столовой. Она

напоминает мне индейскую избу. Низкий барак из неотесанного дерева с дребезжащими маленькими окнами, из такого же дерева столы и скамейки, и больше ничего. Я смотрю отсюда на сухую песчаную полосу, поросшую редкой травой, по краям которой насыпь из песка, добытого в карьере. Вдоль нее извиваются брошенные рельсы. В будние дни полураздетые, загорелые мужчины возятся там с вагонетками. Отсюда нет того вида на пустошь, какой открывается с любого другого места этого растущего поселка.

Позади колючей проволоки — волнистая равнина с низкими растениями, похожими на маленькие ели. Этот безжалостно сухой, убогий кусочек земли, грубая бревенчатая изба, бугристые пески и зловонные узкие ямы немного напоминают золотые прииски, что-то клондайкообразное. Напротив меня за неотесанным деревянным столом Механикус покусывает свою авторучку. Мы смотрим друг на друга поверх наших густо исписанных листов. Он верно и точно, почти как чиновник, регистрирует все, что здесь происходит. «Это выше моих сил, — говорит он вдруг. — Да, я немного умею писать, но сейчас передо мной пропасть или гора. Это выше моих сил».

Здесь снова все пришло в движение, и люди в изношенной одежде с проштампованными паспортами едят из эмалированных мисок брюкву.

6–7.09.43.

Господин Вегериф, Ханс, Мария, Тидэ и все, кого я, возможно, не так хорошо знаю, мне[55] очень нелегко говорить вам об этом. Все произошло так быстро, так неожиданно. Как ни странно, это все еще для нас неожиданно, все еще внезапно, хотя мы все уже давно готовы к этому. В конце концов так было и с ней. И, к сожалению, она тоже ушла.

Еще поздно вечером в понедельник из Гааги пришло известие, что Мишина отсрочка потеряла силу и что он со всеми членами семьи 7 сентября в плановом порядке будет этапирован. Почему? На такого рода вопросы в большинстве случаев нет ответа. Вначале мы надеялись и думали, что этого не случится. И потом для нее наверняка мог бы быть обратный ход, тем более что как раз сегодня добились того, что бывшие сотрудники Еврейского совета в количестве 60 человек пока что не должны уезжать. То, что для Миши и родителей многого не добиться, — стало ясно скоро, но для Этти все еще казалось возможным.

Одним словом, наше внимание сконцентрировалось на спешной подготовке вещей для троих человек. Ох, они все приняли это спокойно, так как давно уже знали, что однажды это

произойдет. Знали, что на следующей неделе родители, все без исключения родители лиц, имеющих в паспорте красный штамп[56], должны будут покинуть лагерь. И Миша уже решил, что он добровольно пойдет со своими родителями, ради которых он был готов и твердо настроен отказаться от всех своих персональных привилегий. И теперь это произошло одной неделей раньше, как-то внезапно, но… различие только во времени. И все же для Этти это было очень неожиданно, поскольку она не хотела ехать с родителями, а хотела, будучи свободной от семейных уз, предоставить себя новым испытаниям. Для нее это было как удар по голове, который на минуту буквально сбил ее с ног. В течение часа она пришла в себя и с поразительной быстротой приспособилась к новой ситуации. Мы вместе пошли в 62-й барак и с головой ушли в нескончаемые поиски, сортировку и упаковку всей возможной одежды и продуктов.

Нервозность их папы выражалась в юмористических комментариях, которые Мишу всякий раз приводили в ярость, поскольку он считал, что папа недостаточно серьезно воспринимает происходящее. Миша не мог понять, почему отсрочка, казавшаяся такой надежной, теперь вдруг стала недействительной, и постоянно хотел, чтобы я задействовал более или менее важные *связи*. Он не понимал, что здесь распоряжение из Гааги уже не подлежит изменению и что все хлопоты в таких случаях — безрезультатны. Однако он оставался спокойным и относился ко всему вполне здраво. Ему было очень тяжело оттого, что он должен оставить здесь много своей музыки. Четыре произведения я затолкнул в его рюкзак, а остальные (вместе с только что прибывшим пакетом с новыми запасами) заполняют теперь чемодан, который при первом же удобном случае надо отправить назад в Амстердам.

Мама Х., как всегда деятельная, возбужденно хлопотала обо всем необходимом и тем самым вносила удивительный покой.

В предыдущие ночи перед отправкой из-за волнений, из-за создаваемого подготовкой шума целые семьи часто не спали всю ночь напролет. Теперь же, когда Этти и я в 3 часа еще раз пришли посмотреть, что еще можно упаковать, все спокойно спали. Поэтому сначала мы поинтересовались, нет ли для Этти шанса повернуть все назад. К нашему изумлению, мы поняли, что дело плохо. В то время как сама Этти беспокоилась о своих родителях и брате, ее подруги по бараку все безупречно упаковали для нее, все вплоть до мелочей было в порядке.

После того как руководство Еврейского совета объяснило, что для Этти ничего уже нельзя сделать, как последняя попытка было

написано ходатайство на имя главного начальника этой службы.

Может быть, в поезде еще можно было чего-то добиться, но все должно было быть готово к отъезду. Сначала к эшелону пошли родители и Миша. Идя за ними, я тащил набитый рюкзак и корзинку, внутри которой была миска и кружка. И вот она вошла в транспортную зону, которую всего полмесяца назад описывала в своей несравненной манере. Она шла, весело разговаривая, смеясь, находя для каждого встреченного доброе слово, с искрящимся юмором, может, с ноткой грусти, но это была настоящая Этти, наша Этти, какой вы все ее знаете. «У меня с собой мои дневники, моя маленькая Библия, русская грамматика и Толстой, и я понятия не имею, что кроме этого находится в моем багаже». К нам подошел один наш руководитель, чтобы только быстро попрощаться и объяснить, что он выдвинул все аргументы, но тщетно. Этти поблагодарила его за «в любом случае выдвинутые аргументы». Стоит ли вам дальше рассказывать, как все происходило и как она и ее семья уехали.

И вот сижу я теперь опечаленный, словно что-то утратил, но с другой стороны — нет, ибо такая дружба, как эта, не может пропасть, она есть и она всегда будет.

Ей я тоже написал это на маленьком клочке бумаги, который в последний момент сунул в руку. Потеряв ее из виду, в попытке найти кого-нибудь, кто мог бы что-то в этом изменить, я еще немного побродил вокруг, но все было бесполезно. Вижу входящих в 1-й вагон маму, папу Х. и Мишу. После того как Этти отыскала в 14-м свою хорошую знакомую, которую в конце концов оттуда вывели, она направилась к вагону № 12. И вот эшелон дернулся, раздался резкий свисток и 1000 *транспортируемых* тронулись с места. Еще один взгляд на Мишу, который машет сквозь щель товарного вагона № 1, потом из вагона № 12 доносится веселое Эттино «Пока-а-а» и они уезжают.

Они уехали, а мы остались здесь ограбленные, но не с пустыми руками. Мы скоро снова найдем друг друга.

Это был тяжелый день для всех. Для Корманна, для Меха и для всех тех, кто так долго был близко с нею знаком. Все-таки ощущать кого-то рядом с собой физически — это не то же самое, что быть с ним только в мыслях. И первым чувством было чувство пустоты. Но мы идем дальше; в то время как я это пишу, все своим ходом идет дальше, и она все дальше и дальше едет на Восток, где всегда так хотела побывать. Я думаю, что Этти даже как-то немного рада тому, что может познать и пережить со всеми вместе все-все, что на нас возложено. И мы снова увидим ее. В этом мы (ее ближайшие друзья здесь) единодушны. После отъезда я поговорил с ее маленькой русской и некоторыми другими, кого

она опекала. И уже одно то, как все отреагировали на ее уход, говорит о многом, говорит о Любви и Вере, которую она дала этим людям.

Простите, что я пишу это письмо в такой неуклюжей манере. Вы избалованы лучшими, лучше сформулированными посланиями. Я знаю, что многие вопросы так и остались открытыми, и прежде всего вопрос о том, можно ли было этого избежать? На это могу лишь ответить: нет! Похоже, это должно было произойти. При удобном случае я постараюсь отослать вам некоторые Эттины книги. Ее пишущую машинку я бы с радостью отправил Марии. На прошлой неделе Этти мне сказала, что очень бы этого хотела, но не знаю, будет ли такая возможность.

Время от времени я буду сообщать вам новости. Прилагаю еще несколько пришедших для Этти писем, открытых цензурой. Пожалуйста, отошлите их отправителям.

Желаю вам всем сил. Мы все вернемся, а такие люди, как Этти, выдерживают самые тяжелые испытания. Мысленно я сейчас с вами.

Йопи Влейсхауэр

notes

Примечания

1

Еврейский юноша, с которым Этти дружила до войны. — Здесь и далее примеч. Я. Г. Гарландта, если не указано иное.

2

Здесь и далее курсивом выделены слова, записанные в дневнике по-немецки. — Примеч. ред.

3

Лизл Леви. Она пережила войну и впоследствии переехала в Израиль.

4

Альберт Вервей (1865–1937) — нидерландский поэт, переводчик, эссеист. — Примеч. ред.

5

Этти перечисляет своих соседей: Кэте (Франсен), Марию (Тейнзинг), Бернарда (Мейлинка) и Ханса (сына Хана Вегерифа).

6

Хан Вегериф, владелец дома, в котором жила Этти.

7

Цитата из «Фауста» Гете (первая часть, 14, 1).

8

Кафе на Лейденской площади в Амстердаме. Собеседником Этти был Франс ван Стенховен (1914–2005), голландский художник.

9

Пешеходная дорожка для прогулок в южной части Амстердама (буквально: Южная Пешеходная дорога). — Примеч. пер.

10

Отчужденно услышала, как чужой говорит: «ястобой» (из стихотворения «Похищение»). — Примеч. пер.

11

Виллем Адриан Бонгер, известный криминолог и социолог.

12

Бруно Борисович Беккер, профессор славистики.

13

Женский журнал. — Примеч. пер.

14

Речь идет о голландском издании трудов Уильяма Дюранта (1885–1981), американского писателя, историка и философа. — Примеч. ред.

15

В Девентере жили родители Этти.

16

Семья, в чьем доме проживал Шпир.

17

Вероятно, речь идет о трудах Оскара Пфистера, швейцарского психоаналитика и теолога. — Примеч. ред.

18

Один из каналов Амстердама. — Примеч. пер.

19

Брат Этти. — Примеч. пер.

20

Анни Ромейн (1895–1978), голландский историк и литературовед, о Карри ван Брюгген (1881–1932), голландской писательнице. — Примеч. ред.

21

Проживающая в Лондоне подруга Шпира, на которой он хотел жениться.

22

Хенни Тидэман. Этти часто называла ее Тидэ.

23

Алейда Схот (1900–1969) — выдающаяся голландская славистка и переводчица.

24

Андре Сюарес (1868–1948) — французский поэт, писатель и литературный критик. — Примеч. ред.

25

«Все, что может рука твоя делать, по силам делай…», Екклесиаст, 9:10. — Примеч. пер.

Предположительно — брат Этти Яап.

27

Предположительно Макс Кнап.

28

Вернер Мюнстербергер (1913–2011) — немецкий психоаналитик и историк искусства.

1-е Коринфянам, 13. — Примеч. пер.

30

Дочь Шпира.

31

Этти пишет слово «мамушка» по-русски, кириллицей.

32

Хэс Вегериф, сестра Хана.

33

Книжный магазин, специализировавшийся на распространении коммунистических публикаций.

34

Имеется в виду немецкая поэтесса Ильза Блюменталь, чья переписка с Рильке была опубликована в 1935 году.

35

Австрийский композитор.

Государственный музей Амстердама. — Примеч. пер.

37

Вернер Леви, муж Лизл Леви, директор Голландского театра.

38

Песня Шуберта.

39

Швейцарская чета Гайгеров держала на улице Николаса Маса вегетарианский ресторан, который Шпир часто посещал.

Этти перевела фрагмент из «Записок революционера» П. А. Кропоткина. — Примеч. ред.

41

Соседка Шпира.

42

Фактически среда 16 сентября 1942. — Примеч. ред.

43

Слова Пауля Герхардта, мелодия Иоганна Крюгера, гармонизирована И. С. Бахом (BWV 441). — Примеч. ред.

44

Йооп — Йопи Влейсхауэр — большой друг Этти в Вестерборке.

Клаас Смелик.

1-е Коринфянам, 13:3. — Примеч. ред.

Выслушай и другую сторону (лат.). — Примеч. ред.

48

Йохана Смелик, дочь Клааса Смелика. Не путать с Йопи Влейсхауэром.

49

Национал-социалистическое движение Голландии, из которого сформировалось местное СС.

50

Старинный замок, на территории которого по особым спискам размещались «привилегированные» евреи (к их числу относился Миша Хиллесум).

51

Филип Механикус.

Юлиус Шпир, в дневнике обозначенный как S.

53

Речь идет о штампе, который ставили официально откупившимся от депортации евреям (они оказывались в т. н. «обменном списке»). Однако таких людей также отправляли в концлагерь Берген-Бельзен, где четверть из них погибла. — Примеч. ред.

Евреи сефардского происхождения пытались доказать, что не относятся к «семитской расе», и таким путем избежать репрессий. — Примеч. ред.

55

Письмо Йопи Влейсхауэра.

56

Красный штамп означал отсрочку депортации. — Примеч. ред.